



О людях и книгах

Борис Дубин

Борис Дубин

О людях и книгах

«Издательство Ивана Лимбаха»

2018

УДК 82.09
ББК 83.3 (0) 6

Дубин Б. В.

О людях и книгах / Б. В. Дубин — «Издательство Ивана Лимбаха», 2018

ISBN 978-5-89059-321-4

В книге впервые собраны вместе рецензии, статьи, эссе, некрологи, расшифровки и тезисы устных выступлений Бориса Владимировича Дубина 1990–2010-х гг., а также высказывания о нем самом – социологе, переводчике, поэте. Сборник представляет собой размышления Дубина о Пауле Целане, Вальтере Беньямине, Эмиле Чоране, Чеславе Милоше, Юрии Леваде, Григории Дашевском, Елене Фанайловой, Марии Степановой, Михаиле Айзенберге, Олеге Юрьеве и многих других его многолетних собеседниках.

УДК 82.09
ББК 83.3 (0) 6

ISBN 978-5-89059-321-4

© Дубин Б. В., 2018
© Издательство Ивана Лимбаха, 2018

Содержание

Кирилл Кобрин	6
От составителя	12
Из (авто)биографического	13
Диалог с Другим	13
Страсть к другим[14]	25
Место, внушающее надежду[19]	27
Как я стал переводчиком	31
1	31
2	34
3	34
Дальние горизонты	38
Век разума	38
Роман-цивилизация, или Возвращенное искусство Шахерезады	40
«Другая Америка» Сьюзен Сонтаг	43
Вена до аншлюса: предисловие к XX веку	46
Плавильный котел	47
Лаборатория новых культурных форм	49
Первая мировая: конец и начало	52
Человек итога и кануна	54
В ситуации молчания Бога	57
Альбер Камю	60
О беге времени на его краю	62
Три интеллектуала в борьбе со своим временем	64
Уроки языка	69
Свидетель, каких мало	73
Война против беспамятства	73
Конец ознакомительного фрагмента.	75

Борис Дубин

О людях и книгах

В оформлении обложки использован фрагмент миниатюры Факундуса «Новый Иерусалим» из «Апокалипсиса Беатуса». Испания, XI в. *Национальная библиотека Испании*

- © Б. В. Дубин, наследники, 2018
- © А. Б. Дубин, составление, 2018
- © К. Р. Кобрин, предисловие, 2018
- © Н. А. Теплов, оформление обложки, 2018
- © Издательство Ивана Лимбаха, 2018

Кирилл Кобрин Герой модерна

Этот том рассуждений Бориса Дубина на самые разные темы объединяет одно, и это одно можно определить латинской поговоркой *ex ungue leonem*. По когтям узнаём льва. Представленные ниже эссе, статьи, выступления и некрологи написаны неутомимым работником культуры, который неустанно трудился для нашего блага, дорогой читатель. Не нужно бояться советского оттенка словосочетания «работник культуры»; если вдуматься в самое простое и прямое его значение, то получится именно не *работающий* «в сфере культуры», а *работник культуры*, если под «культурой» понимать не набор книг, визуальных образов и звуков, а сообщество людей, пытающихся рефлексировать, говоря высоким слогом, искать смыслы с помощью слов, изображений, нот. Как ни пытаются превратить культуру в место приятного отдыха, не имеющего отношения к так называемой «реальной жизни», не выйдет – по крайней мере, до тех пор, пока есть настоящие работники культуры, такие как Борис Дубин.

След дубинской руки, его неповторимая интонация, набор любимых им имен, метафор и – особенно – тем обнаруживаешь в любом из составивших эту книгу текстов. Настоящий читатель, по какой-то случайности незнакомый с «главными» текстами Бориса Дубина, может угадать целое по этим фрагментам, опознать большой творческий – и даже жизнестроительный – проект по деталям либо отвергнутым, либо непригодившимся или затерявшимся. А тот, кто уже знает Дубина-культуролога, Дубина-эссеиста, Дубина-социолога и, конечно же, Дубина-переводчика, несомненно, будет рад дополнить общую картину некоторыми важными частностями. Поэтому такая книга нужна.

Я не буду пересказывать здесь биографию Бориса Владимировича – в первом разделе этого собрания он сам о себе говорит гораздо лучше кого бы то ни было, – хотя чуть позже вернусь к сюжету его жизни, но уже в социологическом, что ли, ключе. Дубин – настоящий социолог: знание об обществе, понимание его, было, если угодно, его страстью. Борис Дубин часто повторял одни и те же вещи о советском и особенно постсоветском обществе, но делал он это как раз потому, что был уверен: именно так и следует говорить, именно это и является достоверным отрефлексированным знанием, без которого ни социума не понять, ни социуму не понять самого себя. В этом – гражданская позиция Бориса Дубина, сколь бы ни истертым казалось теперь словосочетание «гражданская позиция». Между прочим, эта одна из главных дубинских тем: если мы что-то *на самом деле* считаем верным, не следует бояться повторений; Дубину был глубоко чужд капризный эстетизм, отмахивающийся от простых – по-оруэлловски простых – истин, мол, надоели, развлеките меня чем-то свеженьким, остреньким, пикантным. Борис Дубин не развлекал – но и не поучал. Он – работник. Он показывал, как устроено то, что его интересовало – и что, по его мнению, должно быть интересно порядочному человеку. Еще одно, кстати, как бы потерявшее значение словосочетание. Порядочный человек. Человек, сознание которого определяется эстетическим и этическим порядком обдуманно принятых ценностей.

Но об этом чуть ниже. А сейчас – о первом впечатлении, возникающем от чтения этой книги; ведь она сильно отличается от остальных его книг. «О людях и книгах» – название очень точное, ведь людей без книг у Дубина не встретишь, и книг без людей – тоже. Так вот, перед нами действительно особый случай: то, что на первый взгляд может показаться слабым местом – по сравнению с другими, более «серьезными» и более «классическими» дубинскими сборниками и исследованиями – данного издания, на самом деле, делает его особенным, усиливая главное эмоциональное впечатление от текстов Дубина. Они, используя выражение одного советского гуманитария из поколения «пятидесятников», *культурная роскошь*. Роско-

шью называют нечто чрезмерное, избыточное – такими были мышление и культурный горизонт Дубина в контексте унылого позднего СССР и еще более унылых восемнадцати путинских лет. В каком-то смысле лишь 1990-е, с их лихорадочным, но подлинным интересом к открытому в перестройку большому миру, могли соответствовать этой культурной роскоши. И еще очень важно: Дубин не живописал для отечественных простаков, «как там *у них* в культуре устроено», он пытался погрузить своего читателя в другие культуры, чтобы тот понял, что это не «у них», а «у нас», что и круг тем, и способ разговора принципиально не отличаются, есть только детали, пусть очень важные. Можно, конечно, с ходу сказать, мол, мы другие, нам все это любопытно, но не более того, и вообще, им бы наши заботы. Тогда ничего не выйдет. Собственно, и не вышло. Как были «мелодии и ритмы зарубежной эстрады» и «мастера зарубежной литературы», так они – пусть и в трансформированном виде – в том же звании и остались, от Пруста до Янна, от Хаммершоя до Бликсы Баргельда. Это – *они*, не *мы*. Так что культурная роскошь, которой являются тексты Дубина, она как бы хороша, даже прекрасна, но нам она не по символическому карману, будем любоваться ею издалека, через стекло витрины, а потом отправимся по своим делам, насвистывая песенку группы «Ленинград». Борис Дубин положил жизнь, чтобы было не так.

Конечно, культурная роскошь. Будучи немного знаком с современной англоязычной эссеистикой и критикой, могу точно сказать – я нигде там не встречал такого удивительного кругозора, который носил бы не условный эрудитско-фактологический характер – Гугл есть у всех, не так ли? – а именно глубокое понимание самых разнообразных культурных феноменов, явленных в самых разных языках. Да и из неанглоязычных, живущих ныне, мне вспоминается разве что Роберто Калассо; хотя, конечно, он и Борис Дубин очень разные авторы, очень. Здесь бы и посетовать, мол, Калассо имеет статус национального классика, хотя и в постберлускониевской Италии, более похожей на вечеринку в начале фильма «Великая красота», нежели на страну Итало Кальвино и Умберто Эко (конечно же, я понимаю всю условность такого определения). Но сетовать не стоит. Во-первых, так было всегда или почти всегда, ничего тут нового нет. Во-вторых, надо не жаловаться и предаваться печали, а действовать, работать. Что Борис Дубин и делал; хотя нотки безнадежного сожаления проскакивают в разных его текстах.

Дубин писал и говорил (а главное, он их переводил!) об авторах польских, французских, мексиканских, испанских, португальских, аргентинских, кубинских и даже американских, хотя англосаксонскую литературу и гуманитарное знание он (под)сознательно обходил, оставлял в стороне, за редчайшим исключением: Сонтаг и Т. С. Элиота и, кажется, У. Б. Йейтса¹. Тем более удивительным представляется то зияние, которое буквально разверзлось на том месте, где в ландшафте неанглоязычной культуры последних двух веков находится Россия.

Не совсем конечно, зияние, на самом деле Дубин много пишет о современных поэтах, ему близких (думаю, близких скорее как-то метафизически, нежели эстетически, но я тут, наверное, заблуждаюсь), и о своих старших коллегах (и просто коллегах) переводчиках. Второе объясняется просто; это не только дань уважения к сослуживцам по нелегкой и обычно безымянной службе «почтовых лошадей просвещения», но и попытка социологического анализа причин удивительного разнообразия судеб советских литературных переводчиков и редакторов. Как вышло, что в советском художественном переводе было больше талантливых людей, чем в самой русской советской литературе? Объяснение – и довольно простое – напрашивается, но Дубин и здесь избегает общих мест. Его интересует каждый отдельный случай, который он как бы включает в до поры до времени невидимую большую картину. Одно из моих

¹ О причинах этого вежливого избегания можно сказать многое. Думаю, это как-то связано с особым пристрастием Дубина к «провинции», которую он находил гораздо более плодотворной, нежели культурная метрополия, за одним важным исключением – Франции. Но и здесь его герои – то румынские эмигранты, то поэты, навсегда сбежавшие из Парижа в пусть и французскую, но все же провинцию. А любимый Дубиным Жакоте – и вовсе швейцарец, провинциал в кубе. Опять-таки чуть ниже постараюсь развить эту тему.

главных сожалений – то, что я никогда не увижу книги Бориса Дубина о советском переводе и переводчиках, взятых в социологическом ключе. Нехватка именно такой дубинской книги будет ощущаться еще долго. Мы мало что поймем в советской и постсоветской литературе, культуре (да и в обществе, если брать его интеллигентский слой), не получив ясного представления о том, как и почему функционировал механизм перевода на русский десятков тысяч книг, среди которых немало сложных, ориентированных на собственный язык и читателя, а иногда и просто герметичных. В качестве утешения останется раздел данной книги, озаглавленный «Он же – о переводе», куда включены не только интереснейшие статьи о переводах Алёши Прокопьева и (особенно) Юрия Чайникова, но и рассуждения о ремесле *именно в социокультурном контексте*.

Итак, современные русские поэты (от Виктора Сосноры до Александра Скидана) и переводчики на русский. Больше почти ничего и никого. Отчего? Вот это действительно интересный вопрос. И я рискну предложить два ответа, один поверхностный, но мгновенно кажущийся верным, и второй, медленный, несколько сомнительный, требующий более тщательного размышления.

Невозможно оспорить то, что становится очевидным при прочтении этой книги: Дубин, не выносивший «советского» на уровне эстетическом, эмоциональном и гражданском (видя в позднем СССР залог глубочайшего социального упадка и даже деградации), был еще более остро разочарован постсоветским периодом истории России. Дело даже не в режиме, установившемся в самом начале XXI века. Примитивизация общественного мнения, атомизация социума, цинический эгоизм вместо плодотворного индивидуализма и, самое главное, банализация, примитивизация культуры. Мне кажется, для Бориса Дубина это было гораздо чувствительнее, больнее, нежели любая брежневская трупарня, с которой априори все понятно. Здесь Дубин-социолог и Дубин-культурный работник расходятся. Первый отлично понимает, что иной результат русской истории после того, что случилось в XX веке, вряд ли возможен. Понимает, так сказать, академически – да и просто здравый смысл подсказывает. Но тот Дубин, который «работает культуру», «делает культуру», не может относиться к этому с олимпийским спокойствием и, уж тем более, удовлетворенно говорить: «Ну я же предупреждал...» В некоторых из этих текстов (а здесь «чистая социология» не представлена) он просто негодует; впрочем, более распространенной интонацией является презрение, то энергичное, то устало-раздраженное. Например, здесь: «Цена подобных умолчаний и непроговороностей вскрылась позже, уже в 1990-е годы. Если говорить об идеях, ситуация разрешенных свобод „сверху“ при отсутствии сколько-нибудь серьезных интеллектуальных заделов „снизу“ обернулась скандальным и еще не закончившимся на нынешний день провалом идей и символов модернизации России даже в их донельзя упрощенном, „газетном“ либерально-демократическом изложении, а далее – все более явным нарастанием массового цинизма, с одной стороны, и столь же расхожего фундаментализма, ксенофобии, с другой (если это вообще две разные стороны!)». Естественно, Дубин-эссеист и Дубин-культуролог старается не замечать ни советского, ни постсоветского (почти не замечать – см. выше), оно не стоит внимания. Иногда он, впрочем, срывается в инвективы в адрес неназванных авторов и литературных деятелей, в которых я угадываю – если не ошибаюсь, конечно, – самую ходовую, модную, приспособившуюся к циническому вкусу постсоветской образованщины часть московских концептуалистов. Но об этом молчок.

Второе объяснение отсутствия России в дубинском культурном ландшафте – не столь плоское и более, если угодно, теоретическое. Намек на него – в цитированном выше пассаже. Речь идет о провалившейся «модернизации», которая была столь необходима, ибо в России «модерн» вообще не состоялся, она его, так сказать, пропустила, причем по своей воле. Читатель возразит: как же так, как это в России не было «модерна»? Не может быть! И верно, не может. Прежде всего концепций «модерна», понимаемого не как определенный художественный стиль, а как исторический период, концепций «модерности» («современности») множе-

ство – и представление о том, что в результате отсталости и большевистско-сталинской катастрофы модерн в стране не случился, оттого нужно срочно догонять тех, у кого она произошла, нелепо. Невозможно заподозрить, что Борис Дубин этого не понимал. Советский период уже несколько десятилетий трактуется некоторыми социологами как одна из разновидностей «множественной модерна», точно так же как есть модерн, характерная для (бывшего) «третьего мира», от Сингапура и Индии до Китая. И это только одна из немалого числа теорий. Дубин их знал, но чуть ли не специально подставлял себя под удар, утверждая: «...не состоявшийся в России европейский „модерн“ XIX – первой половины XX столетия, гигантский проект мировоззрения и самопонимания нарождающегося сословия интеллектуалов, более не зависимых ни от Церкви, ни от двора. Эта никем ни по отдельности, ни группой не сформулированная программа была сосредоточена в Европе на антропологии „нового“ независимого человека, *homo novus* – деятельного и ответственного индивида, который сам создает себя и условия своей жизни вместе с другими ему в этом подобными. Среди прочего проект этот разворачивался и реализовался в виде эстетически независимой „современной“ (*moderne*) словесности, как и искусств в целом. Средства и цена такой независимости стали предметом опять-таки новой этики – от Канта и Фихте до экзистенциалистов. И одним из первых, наиболее глубоких и прозорливых глашатаев эпохи модерна, героев новой эстетики и мучеников новой этики был Шарль Бодлер». Я не специалист в теории модерна/модерностей, оттого это мое утверждение покажется преувеличением, но все же скажу: подобного определения «модерна» не встречал никогда. Модерн определяли через индустриальную революцию, через колониальную экспансию и эксплуатацию, через формирование нового социума, с его возможностью мобилизации, через возможность сосуществования в одном обществе модерна и немодерна, наконец, через тот же «модернизм» в культуре, понятый как «поздний романтизм», и так далее – вариантов множество. Но для Бориса Дубина важно совсем другое. Модерн имеет несомненно положительную коннотацию, ибо это проект:

интеллектуальный,
в каком-то смысле, этический,
индивидуалистический и либеральный.

В то же время – и это важно отметить до того, как некоторые поспешат обвинить Дубина в благодушии² и розовом либерализме – все это вместе, попросту говоря, не приносит счастья. Ни Бодлер, ни Беньямин, ни экзистенциалисты не радовались жизни потому, что вдруг стали «модерными», «современными», точнее, оттого, что именно они, по Дубину, модерн создали. Именно создали, так как модерн в этой системе – феномен культуры, ее делают и в ней живут, делая.

Итак, модерн, согласно Борису Дубину, не утопия, реализованная на «прекрасном Западе», это сложный тип мышления, драматический, даже трагический, но неизбежный, без него культура, общество не могут стать современными – то есть взрослыми (последнее я добавил, конечно, от себя). К веселому пластиковому цинизму постсоветских 1990-х Борис Дубин так и относится – как к неуместному в решающее для страны и общества время инфантилизму, некогда милому, но теперь ставшему отвратительным и опасным. Высказывая это свое отношение, он действительно выполнял гражданский долг, в своем, конечно, понимании.

Но высказать отношение – мало. Работник культуры должен не отношение высказывать, а дело делать, как говорили герои русской классики. И Дубин делал. В частности, он пытался показать читателю немодерной страны, как модерн состоялся в не самых для этого подходящих

² А недоброжелатели обвинят и в нелюбви к русской культуре – ведь здесь модерн был, и еще какой, от символизма до Бродского, если только о литературе говорить. Все так, но Борис Дубин видел в этой разновидности модерна слишком сильные не-модерные и даже анти-модерные черты. Да, наверное, он их абсолютизировал. Почему? Выше я попытался ответить на этот вопрос.

местах. Думаю, именно здесь разгадка той выборки, что сделал для себя в культурной географии земного шара Борис Дубин.

Как я уже говорил, его интересовала прежде всего провинция. Не уверен, что Борис Дубин был знаком с замечательной классификацией культурной не-метрополии, придуманной французским эссеистом и филологом Луи Мартинесом: «провинция, захолустье, гетто». Думаю, ему бы она понравилась. В советское время он и подобные ему интеллектуалы (не интеллигенты; заметим, сам Дубин в автобиографических текстах решительно отвергает свою принадлежность к этой социальной группе) находились в безусловном культурном гетто. Культурным захолустьем постсоветская Россия, по его убеждению, стремительно становилась. Выход один: осознать себя как провинцию Европы, *важную, но еще одну провинцию высокой западной культуры*.

Сразу предупрежу, в слове «провинция» в данном случае нет ничего уничижительного. В представлении Бориса Дубина – пусть кому-то и кажущемся несколько наивным и слишком энтузиастическим³ – «модерн» представлял собой своего рода Римскую империю с ее цветущими и разными провинциями, связанными логистикой и логикой. Римской империей, *но без Рима*. Последнее обстоятельство очень важно. Весь модерн провинциален, даже французский. Париж – рамочка для модернистов из разных уголков страны и Европы (а то и мира), он дает им приют, общение – сиди, пей в кафе, пиши, спорь, кончай с собой, но Парижа как столицы модерна без его «провинциального» содержимого нет. Особенно если учесть потерю в XX веке французским языком универсального статуса, роли новой культурной латыни. Сегодня все, что не англоязычно, то провинциально. Дубин увидел в этом не оскорбление, а возможность – и предложил русской культуре эту возможность использовать, показывая, как это делали / делают другие.

В мире Бориса Дубина разновидностей «провинции» было две – он посвятил значительную часть жизни, чтобы русский читатель прожил их обе. Это Восточная и Центральная Европа – и Латинская Америка. Чеслав Милош – и Хорхе Луис Борхес. Бруно Шульц – и Октавио Пас. Эмиль Чоран – и Лесама Лима⁴. Авторы, превратившие свою провинцию и свою яркую провинциальность, которой они иногда стыдились, иногда ненавидели, в неиссякаемый источник сырья для персональной фабрики по производству мироощущения модерна – и соответствующих этому мироощущению текстов. Делали это, конечно, по-разному; причем география сыграла очень важную в этом роль. Восточная-Центральная Европа – как бы периферия «настоящей Европы» (с высокомерной, скрыто-ксенофобской точки зрения британского или французского обывателя). Латинская Америка – как бы экзотическая ухудшенная копия Европы. Это стереотипы, их можно проклясть, с ними можно играть – или даже ими торговать. Так обычно и делают. Но лучшие – истинные модернисты – создают из этой смеси собственную реальность, настолько мощную, что слова «провинция» или «метрополия» к ней уже неприменимы. Оставаясь провинциальными, эти модернисты становятся универсальными культурными героями. Этого Борис Дубин ждал от постсоветской русской литературы; и, как мы знаем, не дождался.

И последнее. С социологической точки зрения жизнь Бориса Дубина оказалась историей принципиального не-интеллигента, настоящего рабочего, мастерового, работника культуры, который, находясь в стороне от интеллигентской повестки, в силу исторических обстоятельств, стал в какой-то момент любимцем столичной интеллигенции. Почему? Потому что она увидела в нем то качество, которым вчуже восхищается, но которого в ее природе нет. Это качество – умение делать культуру, совершенно не интересуясь, что об этом думает (точнее – может

³ Но наивность, дающая энергию заблуждения, все-таки лучше квиетического коррозивного цинизма, не так ли? Без наивности Руссо, Канта и Беньямина мы не были бы теми, кем являемся. Даже Бодлер представлял собой странную смесь наивного энтузиазма с наивным же цинизмом.

⁴ Ну и конечно, странным образом объединивший – чисто географически – эти варианты Гомбрович.

подумать) очередной начальник. Качество – быть истинным модернистом, интеллектуальная страсть которого оттиснута на каждой странице книги, которую ты, читатель, держишь перед собой.

От составителя

Впервые об этой книге я услышал уже после смерти отца (внезапной и ранней!), готовясь к одному из вечеров его памяти. Среди найденных видео был и «Треугольник»: ноябрьский телеэфир 2012 года⁵. Ближе к концу программы, отвечая на вопрос о «мечтах» и «планах на будущее», отец сказал, что он «скорее не в возрасте мечтаний», а «в возрасте исполнения мечтаний» (*«хотелось бы надеяться, что какие-то из этих мечтаний исполнятся»*⁶) и что, может быть, попробует написать *«какую-то книжку, которая будет называться „Люди и книги“*, видимо, за этим что-то такое даже *социологическое* кроется: общество, с одной стороны, и культура – с другой, они неотрывны друг от друга, но вместе с тем это какие-то разные силы».

И, продолжая эту свою мысль:

«Мне все больше кажется, что какие-то чисто социальные вещи без культурной их поддержки, продуманности культурной, без влияния собственно культурных, как говорят социологи, образцов, моделей поведения – не идут. То есть *культура имеет все большее значение*, по мере того как общество становится все более сложным. Правда, культуру уже надо тоже понимать более сложно и более динамично, чем просто то, что учат в школах: великие классики и так далее. *Культура – это много чего, кроме великих классиков*, и чем быстрее мы это поймем, тем лучше».

Много чего, кроме великих классиков...

Горький смех, но не могу сейчас не переиначить на свой лад никулинский перл: «На его месте НЕ должен был быть я». В том смысле, что в этой книге предполагались слова «от автора», не «от составителя», но они не написаны. Остальное мой отец, человек исключительного, я бы даже сказал – штучного чувства юмора, успел серьезно, пускай и вчерне, продумать и «разметить»: структура книги, названия разделов мною, безусловно, сохранены, как и общее заглавие *«О людях и книгах»* (так в отцовском компьютере, так тому и быть).

Вместе с тем книгу потребовалось «нарастить». О ком-то отец, очевидно, исходя из пометок, думал, но написанных текстов нет (либо тезисы, и только). Что-то нашлось в устном виде, том или ином, понадобилась расшифровка: книга пополнилась, таким образом, прежде не публиковавшимися текстами Бориса Дубина о важных ему людях (и отчасти их книгах). Впервые публикуются и фрагменты лекции «Поэтический перевод как творческая стратегия» (огромное спасибо за эту аудиозапись социологу Денису Волкову)⁷. Какие-то тексты отец в книгу не включил (включил бы позднее?), но, с моей точки зрения, им в книге определено быть. В отдельных случаях (также необходимых), увы, не с чем и работать: аудио, видео либо не сохранились, либо не существовали вовсе.

Так или иначе, спустя три с лишним года (необходимый мне срок, чтобы попытаться начать работать с текстами Бориса Дубина как с *текстами*, а не с тем лишь, что объяснимо жжет) я отдаю отцу *личный долг*. Один из долгов.

Сердечно благодарю Издательство Ивана Лимбаха за согласие выпустить в свет эту книгу.

⁵ 14 ноября 2012, 3 канал.

⁶ Здесь и далее в расшифровках устных выступлений Б. Дубина курсив мой. Кроме того, при подготовке книги к печати я дал заглавия расшифровкам устных выступлений и переагглюбирал некоторые вступительные заметки моего отца к книгам и журнальным рубрикам (разумеется, это коснулось лишь заголовков типа «Несколько слов об этой книге»). Первые публикации статей и заметок указаны в Библиографическом перечне.

⁷ 14 мая 2013, Институт Сервантеса в Москве.

Из (авто)биографического

Диалог с Другим

Про свою отдельную, ни на что не похожую жизнь я, наверное, рассказать не сумею. Тем более что я не верю в линейность жизни – как будто ее можно вытянуть в одну непрерывную нить. Но вот какие-то узлы более общие, поскольку они связывают с другими людьми, другими пластами и горизонтами существования, было бы любопытно распутать, в том числе мне самому⁸. Однако тут надо понимать, что тогдашняя жизнь – любая! – прошла через несколько разных состояний, что ли. Это были разные состояния самого человека (скажем, меня), разные системы связей с другими людьми, может быть, даже отчасти разные занятия – профессиональные или просто которые тебе по душе нужны. Каким-то образом, добавлю, все это еще соотносилось (или я сейчас хочу поставить это в связь) с периодами и эпохами, которые проживали страна или слой, к которым, хочешь не хочешь, ты принадлежал. Не обязательно чувствовать себя к ним принадлежащим – я себя таковым скорее не чувствовал. Но все-таки в некотором роде я с ними был, поскольку общался с людьми, жил в этой стране, двигался вместе с этим слоем.

Какие вещи тут, мне кажется, были определяющими? Ну, наверное, прежде всего поколенческие – их и ощущаешь раньше, чем что-то другое. Ребята, родившиеся в Москве в середине и во второй половине 1940-х годов – 45-й, мой 46-й, 47-й, 48-й годы, – те, кого я считал своими сверстниками. Значит, во-первых, это Москва, во-вторых, послевоенное, сталинское еще время, в-третьих, это Москва не центральная, а окраинная. Это тоже важно. В моем случае это были Текстильщики, у кого-то это могла быть Марьино, у кого-то – что-нибудь за Соколом или Филиями и так далее, и так далее. Но важно, что это были некие окраины то ли с полугородским, то ли с полуслободским, то ли с полупоселковым образом жизни.

Текстильщики был потрясающий в этом смысле поселок, построенный по манхэттенскому принципу: улицы там были только номерные, вдоль шли нечетные (мы жили на 3-й), а поперек – четные. Они мало чем отличались, хотя жизнь в поселке была не совсем однородная. Явно выделялись элитные, условно говоря, дома, а значит, соответственно, и дети, и образы жизни. С другой стороны, вокруг уже начиналась какая-то новая Москва, не та, в которой начали жить мои родители. Это были пятиэтажки из белого кирпича, с коридорной системой, в них расселялись работники больших предприятий – например, МЗМА⁹.

Так что поселок был многослойным. Самый старый слой – бараки, еще 1920-х годов. Потом, как у нас, предвоенной постройки двухэтажные дома, естественно, с коммунальными квартирами. Потом вот эти пятиэтажки 1950-х. И наконец, очень маленькие вкрапления чего-то вроде элитных домов – у нас это были морфлотовские дома. Они и сейчас есть в Москве на разных окраинах – на Хорошевке, в Чертаново, их строили немцы сразу после войны. Там совершенно другая была планировка и обстановка, попадались, скажем, книжные шкафы и фортепьяно, да что говорить, там были ванны и батареи, там была горячая вода (а у нас в квартире каждая семья топила свою печку и держала дрова в сарае, где ютились еще куры и кролики). Так что это был другой образ жизни, но все равно окраина. Про собственно Москву говорилось «поехать в город».

⁸ По материалам беседы с Николаем Крыщуком в редакции газеты «Первое сентября» в 2006 г. Опубликовано в его книге «Биография внутреннего человека» (М., 2007).

⁹ Московский завод малолитражных автомобилей. *Ред.*

Никакой особой «дружбы народов» в поселке не было, но перемешанность народов была. Были и цыгане, и киргизы, были евреи, китайцы были в бараках (они работали в прачечной) – и, в общем, всякой твари по паре в самом доме и вокруг и, соответственно, во дворе. Ругались по национальности запросто (нашего соседа, тишайшего и безобидного карела, жившего с русской женой и сыном в крохотной угловой комнате, так называемом сапожке, дразнили: «Финн, финн, белофинн»), и узкоглазыми называли, и по-всякому.

Так получилось, что прямо перед школой я больше полугода прожил в отцовской украинской деревне – у бабушки. Меня отправили туда для облегчения жизни родителей: вот-вот должен был родиться второй ребенок, моя сестра. И я вернулся оттуда украиноговорящим, совершенно забыл русскую речь. А идти в школу мальчику, вообще-то говоря, через несколько недель. Во дворе начались стычки. Я звал соседских ребят кацапами и москалями, а они меня, соответственно, хохлом. Так что никакой розовой картинки не было, жизнь была действительно слободская – читайте хотя бы Горького, а из более близких по времени – Маканина. Как из нее было вырываться – непонятно, но, видимо, мать что-то про это думала, что надо как-то выходить из этого окружения. Потому что там ребята, случалось, попадали в тюрьму, ножи и свинчатки шли в ход, и воры были, и девицы легкого поведения, и кто хочешь.

Путь был выбран как будто бы общеинтеллигентский – с малых лет прирастить к книгам и попытаться научить языкам. Что мама и сделала: отвела, еще дошкольником, в библиотеку и нашла частную преподавательницу (кстати, из уже упомянутых морфлотовских домов), которая со второго класса стала учить меня английскому. Из этого начал складываться какой-то другой образ жизни, отличный от того, что был у соседских ребят, или даже ребят в школе, или даже ребят в пионерском лагере, куда меня с третьего-четвертого класса регулярно отправляли. Какая-то своя жизнь завелась, она была связана с книгами, с языками.

Что из этого должно выйти, никто не знал. Но с этим оказался связан некий – условно говоря, первый – прорыв, прорыв во что-то иное. Однажды в пионерском лагере я услышал на скамейке разговор двух ребят. Собственно, речь держал один (звали его, как я потом узнал, Боря Пономаренко). Услышанный разговор, совершенно взрослый и опиравшийся на книги, о которых я и не слыхивал, был настолько поразителен, что это меня перевернуло. Деталей теперь не помню, это было как удар, материи обсуждались философские – конечно, назывались не эзотерические имена, которых тогда быть не могло, но уж Гегель точно фигурировал. Что-то о бытии, сознании, да еще с естественно-научной подкладкой. И я, вернувшись домой (это был третий или четвертый класс), стал составлять для себя в больших китайских бухгалтерских тетрадах, неизвестно зачем привезенных родителями из Маньчжурии, где они во время войны с японцами встретились и поженились, планы чтения. Благо, родители вскоре подписались на очередное издание Большой Советской Энциклопедии: они признавали только солидные, настоящие книги. Естественные науки меня привлекали меньше, а сферу воображения задевала, условно говоря, философия и озабоченная философскими вопросами литература – конечно, как понимает философию простой, не академический человек, тем более еще совсем мальчишка.

Я стал рыть в эту сторону, копать в энциклопедии, выбирать оттуда то, что мне казалось интересно. А интересно было одно: то, где было написано, что автор стоит на неправильном пути. Со всякими нехорошими эпитетами: что он заблуждался, был идеалистом, символистом или футуристом и т. д. Вот это было действительно важно, и это стоило копать дальше. Я записался сначала в детский отдел Ленинской библиотеки, потом – в юношеский, стал туда ездить. И это была одна линия жизни. Видимо, она выводила на филологический факультет, на который я, окончив школу, и поступил в 1965 году. И это была вот такая линия: зеленая лампа, как в Ленинке, круг света под ней, хорошие книги. А уж что это будет: филология, история, история философии или все это вместе, – в общем, было и не так важно. Важно, что

это был свой мир, и он был во всех отношениях хорош, интересен, насыщен, не такой, какой складывался вокруг.

К счастью, родительская семья была благополучна, в том смысле, что никого не посадили и не сослали во времена террора, никого не убили на улице. По крайней мере, среди самых близких родственников все было относительно нормально. У более дальних родственников случалось всякое: были люди, которые пили или попадали в психбольницу. Это, среди прочего, была цена за советскую урбанизацию, когда людей собрали в предместья больших городов, где им нечего было больше делать, как ездить на работу и обратно. Потому что деваться в поселке было некуда, никаких мало-мальски отмеченных и притягательных мест в нем не было. Ну, был клуб, где раз в неделю меняли кино, ну, была самая обычная библиотека. Пивная на нашей улице была. Школа – тоже самая обыкновенная, ничего особенно интересного там не ожидало и не случилось.

Дальше был филфак. Тоже ничего особенно замечательного (за исключением двух-трех преподавателей, которых я выбрал сам и в спецсеминарах которых занимался, – Т. П. Ломтев, М. В. Панов, Анатолий Алексеевич Федоров). Казалось, дальше так все и пойдет. Филология, история литературы, конечно, зарубежной, а не отечественной, это подразумевалось, потому что отечественная вся уделана идеологией и российскими преподавателями. Что-нибудь подальше от окружающего. Ну, наверное, что-то такое мерещилось, что я потом увидел у Аверинцева, Гаспарова, – совершенно свой выстроенный мир, в котором ты царь и бог.

Но тут поджидало следующее возмущение (тоже пробой, но в другую сторону). Примерно в начале 1964 года я познакомился с кругом молодых поэтов, которые через несколько месяцев создали то, что получило название СМОГ – Самое Молодое Общество Гениев. Разные были расшифровки этого СМОГа, главное, что хорошо звучало: СМОГ, смогисты. Я не был среди отцов-основателей и даже среди самых активных участников, но все же в нескольких выступлениях участвовал, какие-то из моих стихов перешли в самиздат, потом были перепечатаны в «Гранях». В общем, тут наметилась какая-то другая линия возможной жизни. Леня Губанов, Володя Алейников, Саша Васютков, Володя Батшев – он мне ближе других. С Юрием Кублановским я почти не был знаком, с Аркадием Пахомовым познакомился позже, уже в МГУ. Но самым близким моим другом на многие годы, вплоть до 1985-го, когда он ушел из жизни, стал Сергей Морозов, очень одаренный, замечательный поэт, до читателя ни тогда, ни теперь так и не дошедший. Мы познакомились через Батшева в литературной студии «Зеленый огонек», которую вел тогда по московским клубам Эдмунд Иодковский.

Совсем другие люди, другие интересы, другие связи. Это никак не вписывалось в ту жизнь, которая была у меня в семье и как будто бы не рифмовалось с той жизнью, которая проходила на филологическом факультете. В СМОГе были люди, напрямую связанные с политическим диссидентством, в частности, они участвовали в первой правозащитной демонстрации на Пушкинской площади, сорокалетие которой праздновали в декабре минувшего года. Были связи с тамиздатом, а через тамиздат – с НТС¹⁰, с правозащитными кругами, с Даниэлем, Синявским, процесс над которыми вскоре разразился, и так далее. Дружили с Буковским, ему помогали. Я держался от этого несколько в стороне, считал, что политика политикой, а литература литературой. В этом смысле я был большим эстетом, что ли, чем многие мои друзья (с Юлием Даниэлем мы познакомились только в начале 1980-х, работая над антологией французской поэзии девятнадцатого века, а с Андреем Донатовичем Синявским – и вовсе в начале 1990-х, в другой жизни, в Париже).

На филфаке была своя литературная студия, ее тогда вел Александр Карпов. Я вместе с моим филфаковским другом Мишей Елизаровым стал туда захаживать. На одно из публичных

¹⁰ НТС – имеется в виду Народно-трудовой союз российских солидаристов, политическая организация русской эмиграции, издающая журналы «Посев» и «Грани». *Ред.*

выступлений, где студийцы как бы отчитывались перед университетом и в коммунистической аудитории читали написанное под присмотром руководителей студии, пришли по моей наводке несколько ребят-смогистов, которые из зала начали читать встречно: Батшев, встав на скамью, прокричал «Декабристов на Сенатской». Разразился микроскандал, начали меня таскать по инстанциям – комсомол, деканат. Ну, до смешного – отца вызывали. Они не знали, что делать: припаять еще ничего нельзя, да и для факультета, для его начальства это было бы слишком опасно (1966 год!), но учуяли, что происходит что-то не то и надо от этого нехорошего элемента как-то освободиться.

Здесь, видимо, приоткрывалась совсем другая возможность и, теоретически говоря, мог получиться другой сюжет жизни. Оппозиция, правозащитное движение, подпольная литература, вторая культура, может быть, в дальнейшем – эмиграция. Но ничего из этого не состоялось. Через полтора-два года СМОГ сам собой растворился. Батшева в 1966 году арестовали и сослали в Сибирь, кто-то отошел, кто-то обзавелся детьми и стал жить нормальной жизнью, кто-то спился, кто-то, попозже, уехал за рубеж. У СМОГа был очень короткий период активной публичной жизни, нам даже пытались помогать не совсем заскорузлые члены Союза писателей. Однако рамки были очень ограничены. Уже случилось дело Бродского, потом разразился процесс Даниэля и Синявского. Государство снова стало закрываться и выпихивать в эмиграцию людей, которые были ему неуютны.

Какое-то время, год-полтора, мы – Морозов, Елизаров, я – общались с Самойловым и Слуцким, ходили на семинар к Тарковскому и однажды, вдвоем с Морозовым, даже к нему домой. Я был в студии при ЦДЛ у Зиновия Паперного, который замечательно ее вел: приносил американские однотомники Ходасевича и Цветаевой, кого-нибудь из студийцев просил, и тот полтора часа читал страницу за страницей, потом обсуждали, разговаривали. Опять-таки на филфаке эти походы «на сторону» сильно не нравились, потому что они уже стали за мной приглядывать. До жестких санкций дело не дошло, но из обоймы людей, которым светило хорошее распределение и какая-то карьера, я выпал довольно быстро. Дальше уже надо было определяться самому.

* * *

Я для себя выбрал абсолютно частную жизнь, ничем по работе не связанную с идеологией. К тому времени, в 1970 году, у меня уже появилась семья. Поскольку на службу никуда не брали, а преподавать мне не очень хотелось, я не чувствовал себя в силах что-то рассказывать детям, то пошел работать в Ленинскую библиотеку, в отдел хранения, где и раньше иногда подрабатывал летом месяц-другой. Подобрать книги для выдачи в зал, получить их обратно, расставить на прежнее место – и все, свои восемь часов отработал – и домой. А дома – стихи, потом начались понемногу переводы, и так определился новый путь.

Мне повезло, я почти случайно попал на замечательного редактора в «Художественной литературе» – Олега Степановича Лозовецкого, который в основном занимался западноевропейской классикой. Он только что издал тогда в «Сокровищах лирической поэзии» Бодлера, потом Верлена, отвел меня в соседние редакции, там я познакомился с Юлией Живовой, с Никой Глен – людьми, близкими к Ахматовой. Испаноязычная редакция была очень важна для меня. Ею руководил Валерий Сергеевич Столбов (читатели знают его как переводчика «Ста лет одиночества»), он всячески пытался развернуть испаноязычную словесность XX века, привить ее России, он был еще в довоенной Испании, участвовал в Гражданской войне, это было дорого ему лично.

Здесь началась следующая жизнь, которая связана с переводами и которая длится, так или иначе, до нынешнего дня. Филологическая жизнь не сложилась, не сложилось судьбы правозащитной и оппозиционной, но возникла такая полуподпольная судьба, связанная с перево-

дами, поскольку я всегда переводил только то, что хотел. Никакую заказную, противную работу ради денег я не брал. А значит, публикаций всегда было немного, и жить на это было практически невозможно. Существование было совершенно непубличное, полностью одинокое. У меня был один друг – Сережа Морозов, о котором я уже говорил, были жена, сын, который родился в 1972 году. И так шло год за годом, пока в застойной Ленинской библиотеке не произошло некоторое возмущение, очередной пробой, открывший мне еще одну новую возможность.

* * *

В библиотеку пришел в 1977 году мой сверстник Лева Гудков, который сложился в совершенно другой по уровню интеллектуальной среде (в отделе Юрия Левады в Институте социологических исследований), был поэтому зреее и целеустремленнее меня, а по своей деятельной природе не мог, как я, просто отсиживать положенные восемь часов. Мы работали в научно-исследовательском отделе Ленинки, который был сформирован не так давно, в середине 1960-х, для изучения читательских интересов. Все-таки система была уже послесталинская, а в некоторых отношениях и антисталинская. Слабая идея, что существуют люди, а у них есть какие-то интересы, что эти интересы бывают разными и так далее, постепенно стала проникать в умы руководителей некоторых ведомств. Вот и в библиотеке была создана структура, которая занималась изучением читателей и массовых библиотек. Гудков попытался поставить его на научные рельсы, развить социологическую составляющую библиотечных опросов и вписать это в исследование – пусть косвенное, через чтение – современного советского общества. И хотя я в то время собирался уже уходить из Ленинки на вольные хлеба, заведующая нашим сектором Валерия Дмитриев на Стельмах уговорила меня остаться еще на какое-то время, чтобы помочь Гудкову. С другой стороны, и разговоры с Левой становились мне все интереснее. К тому же у меня родился второй сын – тут были нужны не редкие гонорары, а постоянная зарплата, пусть небольшая. Так что я остался, и это оказалось вторым путем моей жизни. Мы с Гудковым, с Абрамом Рейтблатом, а потом – с Сергеем Шведовым, Наталией Зоркой стали работать над библиографией зарубежных работ по социологии литературы, сборником обзоров и рефератов по социологии чтения, завели семинар, куда стали приглашать московских историков, литературоведов, социологов нашего поколения или около того, начали даже изредка, раз в год, печататься.

Но к середине 1980-х годов все эти возможности под крышей Ленинки – как и в стране в целом – исчерпались. И с 1988 года этот второй, социологический путь жизни вот уже почти двадцать лет связан для меня с Центром Юрия Левады¹¹. Сначала это был всесоюзный ВЦИОМ, потом всероссийский, а два последних года, после того как кремлевская власть подмяла ВЦИОМ под себя, существует как независимый Левада-Центр. Мы занимаемся изучением общественного мнения, пытаемся понять российское общество, издаем свой журнал (теперь он именуется «Вестником общественного мнения»), ежегодник «Общественное мнение» в таком-то году, время от времени собираем свои статьи и издаем авторские книги – они вышли у Левады, Гудкова, Алексея Левинсона, у меня. Вот такой путь эмпирической социологии, которая изучает современную Россию, все, что с ней происходит: политику, экономику, культуру, образование, религиозность. По старой памяти я еще пишу иногда о чтении, о популярной литературе, тяну ту давнюю литературно-социологическую нитку¹².

¹¹ См. также: От ВЦИОМа к Левада-Центру. Вторая часть беседы Любви Борусяк с Борисом Дубиным в цикле «Взрослые люди» (<http://polit.ru/article/2009/11/04/dubin/>). *Сост.*

¹² См. также: «...Если можно назвать это карьерой, пусть это будет карьерой». Интервью Г. С. Батыгину // Дубин Б. Очерки по социологии культуры: Избранное / Предисл., сост., подгот. текста А. И. Рейтблата. М.: Новое литературное обозрение, 2017. С. 11–30. *Сост.*

Другая линия жизни – все, что связано с зарубежной поэзией, а в 1990-е годы уже не только с поэзией, но и вообще с зарубежной словесностью, отчасти философской, отчасти беллетристической. По сути, меня больше всего интересуют идея, программа и эпоха модерна в европейских обществах и те формы, которые некоторые части этой программы приняли в России. В том числе самые уродливые, как, например, модерн сталинский. Но и ему противостоявшие тенденции, которые задали вторую культуру, другое движение для нее, в том числе вызвали контрмодернизационные идеологии – почвенные, националистические и так далее. И разумеется, либерально-демократические модели и движения, которые в противовес сталинскому модерну и почвенно-националистическим реакциям на него были, начиная с 1950-х годов, в той или иной мере развиты. Меня интересуют модерн и несостоявшиеся или осложненные, припозднившиеся, поэтому неизбежно очень непохожие на исходный образец формы, которые принимает модерн в эпоху, когда вроде бы для больших обществ мира этот пик считается пройденным.

У них там уже постмодерн, а у нас, мне кажется, ситуация гораздо более сложная. Всё, как, примерно, в нынешней Москве. Бараков, правда, уже нет, но все остальное наслоено друг на друга. Слева церковь, напротив рынок, здесь же махина Газпрома и реклама «кока-колы», а вот публичный дом – и всё в одной авоське. У нас способ упаковывания жизни и культуры такой поселочно-авосечный, не предусматривается, что могут быть разные этажи, разные отделы, разные кармашки для разных предметов, будь то в доме, будь то в портфеле. Авоська – что ни положишь, все вниз и к центру скатывается и там перемешивается.

Кажется, у Георгия Жженова был напечатанный на заре перестройки мемуарный рассказ о лагерных годах, когда ему родственники присылают по его просьбе сахар, табак, шерстяные носки и что-то еще. Посылка идет настолько долго и через такие сложные социальные, политические и климатические условия, что доходит до него один куль или, точнее, ком. Дальше его надо резать на куски и по возможности извлекать из них составные части. Мне все чаще представляется, что наша жизнь, в том числе и нынешняя российская, – что-то вроде этого. Нужно, важно, интересно этот ком распутать. Причем мне кажется, что я это же самое делаю, когда занимаюсь так называемой литературой – перевожу или пишу про то, что сам перевожу, или хочу перевести, или другие переводят, – и когда занимаюсь социологией, то есть ошупываю того же слона, только, скажем, не со стороны хобота, а со стороны хвоста.

Насколько я понимаю, моя активная роль во всем перечисленном выше была не очень велика. Так складывались обстоятельства или, вернее, так складывались созвездия людей, которые для меня были чрезвычайно важны, что рано или поздно в этом созвездии и для меня оказывалось какое-то дело. Этим самым, я, как мне кажется, соединяю – хорошо или плохо, не мне судить – свое, совсем личное и неповторимое одиночество с одиночеством других таких же, у которых нет другой возможности, кроме как сложиться в шалашик. У Владимира Марамзина была такая ранняя, 1970-х годов, повесть, сейчас я ее уже подзабыл. Герой и героиня обдумывают, как случилось, что они в этой дикой жизни все-таки встретились. И героиня говорит что-то в таком роде: «Понимаешь, ты щепочка и я щепочка. Каждая щепочка поодиночке падала, но случайно они уперлись друг в друга, и получился шалашик». В некотором смысле, в моей жизни образовалось несколько таких шалашиков, все они, понятно, представляют собой какое-то сочетание меня, одиночки, с другими такими же.

Теперь, когда большая часть жизни отжита, я думаю, что оно было примерно так. С одной стороны, меня всегда вело стремление к чему-то другому. В том числе к Другому, как пишут в социологии, с большой буквы. Другой – это тот обобщенный партнер, который для тебя предельно важен и с которым ты мысленно соотносишься в любых действиях. Вместе с тем я, хочешь не хочешь, по шейку находился в этой, здешней, реальности.

Другой – это авторитетный персонаж, та инстанция, с которой я внутренне говорю. Довольно многих из этих «кого-то» уже нет на свете. Но есть, хотя их и немного, те, с кем

я дружу, работаю, разговариваю лицом к лицу или по телефону, переписываюсь по электронной почте. Это могут быть вообще какие-то воображаемые персонажи, я говорю им «ты», но не всегда понимаю кому. Может быть, это даже я сам, но какой-то другой, каким бы хотел или хочу быть. И вот это желание Другого, желание открыться этому Другому и, в некотором смысле, самому стать другим, все время соединялось и продолжает соединяться для меня с тем, что ты связан тысячами нитей с этой окружающей реальностью, такой, какая она есть, в самых ее бытовых, неказистых и, может быть, даже и неприятных чертах.

Когда мы с коллегами начали в конце 1980-х разворачивать в тогдашнем ВЦИОМе проект «Советский человек» (душой его был и остается Юрий Левада), мы, конечно, изучали окружающих нас людей, пытались найти, что в них советского, что не советского, как это соединяется и что из этого будет, но при этом мы разматывали соответствующие клубки и в самих себе. Мои сверстники жили в разные советские эпохи: совсем еще сталинское послевоенное время, потом – ранняя «оттепель», потом – брежневское охлаждение, полный маразм и распад, потом – ситуация 1985–1988 годов с ее переломом, потом – совсем уж крутые переломы с начала 1990-х, включая то состояние, в котором мы сегодня сидим¹³. Каждый раз это характерное соединение попытки приоткрыться чему-то другому с новым заворачиванием с головой в дремучее свое, из которого, кажется, уже и выхода нету. Такое соединение по-своему мучительно, но этот драматизм в то же время дает энергию. Иначе я для себя не могу объяснить, откуда берется желание писать, думать, что-то затевать и организовывать, если бы не это соединение, казалось бы, несочетаемых вещей – советского и всемирного, социологии и поэзии, которые тоже ведь соединяются по-разному и драматично. Если придавать прожитой жизни какую-то форму, почти воображаемую, то, наверное, получится что-то в таком роде: это никогда не линия, а всегда узел.

* * *

В моих родных по отцовской линии – смесь украинского, польского и еврейского. Дед Илларион, бравый украинский парень, в Первую мировую оказался со своей частью на постое в галицийской деревне Требухивцы под Буча-чем, умыкнул оттуда дочь кузнеца, мою будущую бабушку Мальвину Иосифовну Лапинскую и привез ее в Центральную Украину, в село Иванковцы под Знаменку. После всех событий Великого перелома и начала 1930-х родители просто выпихнули моего будущего отца из деревни с тем, чтобы хоть этот усик выбрался на волю и остался жив. Он закончил техникум, стал фельдшером и прожил военным врачом. Мама – это другая деревенская линия, она из-под Саратова, из небольшого сельца на Хопре. Бабушка в 1929-м уехала с ней в Москву, поступила простой работницей на ватную фабрику, где работала за жизнь нищенскую пенсию и эмфизему легких, а мама потом, ничего особенно не выбирая, пошла с подружками в медицинский и стала детским врачом.

У моих родителей не было настоящего, высокого престижа знания, культуры: они были служащими, но никогда, сколько знаю, не относили себя к интеллигенции. Однако сознание того, что культура – это что-то важное, и если уж вырываться из окружающего слободского быта, то это нужно, оно было, особенно у мамы. Сама она не стала оттуда рваться, хотя могла. Она – деятельный человек и была бы совсем не плохим руководителем, но что-то ее всегда останавливало. То ли официальность, то ли необходимость соединять дело с партийностью и прочее – это ей претило, было неинтересно, не ее, и она никогда бы не стала этим заниматься.

В 1959-м мы уехали из Текстильщиков и переехали жить к метро «Университет». Образовался другой круг жизни, это была другая школа, из старых московских, хоть с какими-то

¹³ См. также: Дубин Б. «Сейчас – период прощания с книгой» (2013, <http://urokiistorii.ru/article/51820>); «Нам нести всю тяжесть расплаты» (2014, <http://www.colta.ru/articles/society/4319>). *Сосм.*

традициями. В частности, там была хорошая учительница литературы, умудренный, немного напуганный человек, но все-таки пытавшийся с ребятами что-то делать. И когда она увидела, что я читаю и интересуюсь литературой, она стала меня немного поощрять. Заинтересовалась, не пишу ли я сам чего, я стал ей приносить кое-что из написанного, а она пыталась меня пропихнуть в стенгазету – не к официальным праздникам, такого я не писал, а что-нибудь «лирическое», например, связанное с весной.

Принятый в ту пору столбовой путь карьеры был не для меня. Родители в этом смысле не давали никакого примера и никогда на этом не настаивали. С другой стороны, путь профессионального революционера тоже мне в голову не приходил. Если же ты выбирал гуманитарный путь, то тут раздвоенность, двойное сознание оказывались неизбежны. Надо было как-то соотноситься с грубой реальностью: скажем, ты и во дворе получал особый статус. Вообще-то, я был тогда спортивный, увлекался баскетболом, показывал недурные результаты на лыжах – ну, такие себе местные рекорды. Впрочем, баскетболистом я, кажется, мог бы стать неплохим. Но время не ростового баскетбола уже прошло, наступало время прибалтийских гигантов – 2.10, 2.30. Когда мы пошли записываться в секцию «Буревестника», нам отказали: Алачаян, говорят, еще доиграет, а вы опоздали. А ведь во дворе были мастера настоящие, просто виртуозы, могли бы вырасти в профессиональную команду не хуже каких-нибудь «Глобтроттеров», если бы была нормальная страна. Так что была у меня еще и такая возможность жизни, спортивная, она тоже была.

А вместо этого – двойная судьба. С одной стороны, я был такой, как все. Драться во дворе особенно не дрался, но мог подтягиваться и крутиться на перекладине, бегать на лыжах, на коньках, просто бегать, на воротах футбольных неплохо стоял. Но наряду с этим была у человека такая странность, которая иногда пригождалась: «Расскажи-ка чего-нибудь». И можно было рассказать ребятам что-нибудь забавное или приключенческое, чего они не знают, или объяснить, что там происходило в только что просмотренном кино, например.

В новой школе было уже легче. Кроме того, я был отличником. Дети военных часто становятся отличниками. Учителя относились соответственно. Они же меня запихнули едва ли не в последний школьный месяц, в 11 уже классе, в комсомол: иначе на филфак было не поступить. Были, конечно, конфликты и на уровне школы, поскольку я довольно рано познакомился там с девочкой, которая стала потом моей женой и с которой мы до сих пор живем в мире и согласии. Школа хотела для своего отличника одно, а мы с девочкой хотели другого – собственно говоря, хотели только лишь быть вместе, чтобы нас оставили в покое. Но, кроме всего, девочка была полуеврейкой, а антисемитизм в тогдашней школе, особенно на уровне директора, завуча, завхоза, был вещью абсолютно тривиальной. Нас не пускали вместе ехать в колхоз, картошку убирать. Ну, я, дурень, настроил письмо в «Комсомолку». Естественно, как тогда это было, все спустили «на место». Меня вызвали письмом в райком комсомола. Там нормальный парень, молодой, но постарше меня, он увидел, какой простак перед ним, и понял, что никакого «дела» тут нет. Так что дали мне вступить в комсомол и в колхоз пустили. Директор, конечно, затаил, но школу я закончил с серебряной медалью. Так что была возможность и на филфак дуриком поступить, но на сочинении я получил тройку.

Тема сочинения была «Герой нашего времени». А я в это время как раз прочел «Особняк» Фолкнера, и меня поразило, что можно вот так, из разных точек зрения и способов рассказа, построить роман. Меня почему-то эта мысль пробила прямо на экзамене. Ну, видимо, заврался или куда-то далеко ушел, вlepили мне тройку. Я даже не сопротивлялся и ничего не выяснял. Решил, что все остальное сдам на пятерки и пройду. Поскольку парень, меня приняли с восемнадцатью баллами.

Сознание раздвоенности, неполной принадлежности, о котором я сказал, оно, надо отметить, всю жизнь сопровождало и сопровождает. Редкие счастливые месяцы, когда это проходило. Последнее, что помню, конечно, связано с перестройкой: тогда казалось, что все, раздво-

ение ушло навсегда, мы живем там и тогда, где и когда живем, по нам идет время, мы и есть часы. На протяжении нескольких месяцев так оно и было. Газеты заинтересовались той продукцией, которую создавали социологи. Я как с цепи тогда сорвался, по два-три раза в неделю что-то печатал – теперь и газет тех («Куранты», «Голос», «Радикал») никто не вспомнит. А это было замечательно – ощущение того, что ты и есть стрелка времени, что оно по тебе идет.

Потом с 1993–1994 годов, когда началась Чеченская война, когда Ельцин начал сдавать людей, потом сам стал сдавать как политик и как человек, снова вернулось это чувство раздвоенности. К концу 1990-х оно еще обострилось. Есть страна, а есть ты и твой круг, и за пределами этого круга обстановка уже другая. Сюда ты ходил вчера, а сегодня уже не пойдешь – либо потому, что там уже другие люди, либо люди те же, но на самом деле они совсем другие. Однако я по-прежнему стараюсь это состояние обратить в источник энергии. Пока удастся.

* * *

Как бы я ни был близок к интеллигентскому слою, как бы я в нем ни находился и отчасти даже ни шел вместе или, по крайней мере, нас несло вместе какое-то время, тем не менее я никогда себя не чувствовал принадлежащим к интеллигенции. С одной стороны, из-за одиночества, не просто личного, с тобой случившегося, а социального, сконструированного (я даже хотел о нем в свое время написать – не про себя, а про Сережу Морозова, про его наполовину вынужденную, наполовину добровольную уединенность, даже подзаголовок придумал: социальная конструкция одиночества). У меня, в сущности, до второй половины 1970-х годов никакого «круга» не было вообще. Иногда попадались отдельные люди, с которыми я очень, очень дружил. Или мы что-то делали вместе. Только с середины 1970-х стал складываться некий переводческий кружок, в центре его был уникальный переводчик Анатолий Гелескул, я считаю его в переводах моим учителем. С другой стороны, в Библиотеке Ленина стал складываться круг профессионалов, которые пытались делать то, чего не было.

Если есть какой-то, условно говоря, главный нерв в моей жизни и в жизни людей, мне подобных, то он как раз в этом: делать то, чего нет. Вот так я пытаюсь вводить в русскую словесность то, чего в ней нет. Какие-то промежуточные жанры – то ли поэзия, то ли проза, то ли философия, то ли искусствознание. Мне не лень это отыскивать в зарубежных литературах: сегодня в польской, завтра в португальской, в английской, во французской. Как писал Мандельштам: этого нет по-русски, но это должно быть по-русски. Для меня это было важно.

То же самое – с социологией. Ее ведь у нас по-настоящему нет. То, что за нее принимают в газетах, все эти рейтинги, графики «лестницами» и «пирогам», это же к социологии отношения, в общем, не имеет. А вот то, что Левада, его сотрудники, я по мере сил, каждый и все вместе, пытаемся делать, это та социология, которой нет, но которая была бы, мы верим, нужна. Потому что без этого невозможно понять, что за страна, в которой мы живем, что за люди, к чему дело идет, почему ни черта не меняется, почему все как будто бы опять довольны? Вот это желание быть другим, сделать то, чего нет, – оно и вело, и ведет, хотя не скажешь, что это комфортное самоощущение. Временами оно бывает чрезвычайно мучительным. Особенно в конце 1970-х – начале 1980-х, бывало, очень грустно становилось, думалось: «Неужели это навсегда и совсем никогда не будет ничего другого?». Но мы все-таки старались держаться. А в другие времена зуд этот, напротив, помогал что-то делать и не замыкаться на себе, не закусывать себя.

При этом у меня, скажу еще раз, всегда было слабое чувство «мы» – не знаю, не атрофировано ли оно вообще. Никогда не грела принадлежность к слою, к классу, к группе, кроме очень небольшого круга одиночек, которые образовали шалашик, я об этом уже говорил. Я любил тех людей и дружил с теми людьми, с которыми мы делали что-то вместе, и делал что-то вместе с теми людьми, которых любил и с которыми дружил. Общаться же с теми, кто принад-

лежит со мной к какому-то «общему слою», казалось мне всегда столь же странным, как общение с людьми, с которыми мы – помимо нашей воли – оказались родственниками. Я неплохо знаком с антропологией, читал много этнологической литературы, а потому давно усвоил разницу между родством по крови и родством по выбору: я ценю только последнее. С другой стороны, у меня, так уж случилось, не было потомственной интеллигентской культуры. Ее и не могло быть: в этом смысле, я – порождение советского строя, человек без наследства. Я был первым в моем семействе, у кого появилась настоящая библиотека. То есть я действительно собирал книги, альбомы, пластинки, жил ими. Так получилось, что я был первым, кто начал печатать на машинке, а потом первым работать на компьютере. Это не заслуга, просто, повторяю, так получилось. Я не входил в интеллигентские сообщества. Опять же это не заслуга, может быть, даже потеря, но это так. Случалось, я любовался отдельными людьми, которые считали себя принадлежащими к интеллигенции и во многом воплощали в себе черты интеллигенции, какой она хотела себя видеть. Но тем не менее я понимал: я – какой-то другой, может быть, урод, но другой.

И когда я (не я один, конечно) в конце 1980-х – начале 1990-х годов почувствовал, что, сделав свое дело, слой интеллигенции – вместе с железным занавесом и раздвоением, растрескиванием культуры, вместе с тогдашним бумом журналов, републикаций и так далее – уходит и не может не уйти, то для меня, с одной стороны, как для профессионального социолога, этот уход был понятным и в известном смысле логичным, а с другой – я как переводчик начал искать в словесности вещи, которые заведомо не похожи на интеллигентскую литературу. Это не их родовой признак, то есть я не искал то, что заведомо не интеллигентно, но меня вело представление о той литературе, которой еще нет, которая непонятно что. Вместе с тем это не радикальный эксперимент, такого я не умею и не люблю. Мне интересно то, что еще не называется литературой, не стало ею раз и навсегда, но что может стать литературой, если будет с чем-то связываться, развиваться и что-то непредсказуемое будет с ним происходить. Мне бы хотелось работать для завтрашних писателей. А если они окажутся еще и читателями или если они просто будут читателями, но завтрашними – это ровно то самое, что мне нужно! Это тот ориентир, который мне интересен и важен, он меня заводит.

Иногда по дружбе или по старой памяти я делаю в переводах немножко другие вещи, они выбиваются из основных занятий. Так, мне очень было приятно переводить Исая Берлина. Я понимал, что это Другой. Вот таким хотела бы, я думаю, быть русская интеллигенция – по крайней мере, та, которая мне интересна, которую я не полностью отторгаю и которая меня не полностью отторгает. Абсолютная независимость мысли. Интерес к тому, что ты не можешь полюбить и что даже может быть для тебя опасно. Ведь он, один из крупнейших либеральных мыслителей XX века, всю жизнь занимался двумя абсолютно антилиберальными феноменами: национализмом и социализмом. Биография Карла Маркса, труды о Чернышевском, о Белинском и прочее. И национализм в самых его тяжелых, черных изводах – германский, включая антисемитизм, расизм и все что угодно. Но его тянуло не желание закрыться, сказать «это не мое», «фу, какое это все нехорошее, какое опасное», а, наоборот, стремление именно это сделать проблемой, разобраться в этом. Он же писал, что XIX век прозевал и то и другое, и национализм и социализм, и что именно поэтому сложился такой XX век, особенно когда две эти вещи соединились, да еще в гигантских человеческих муравейниках огромных сообществ. Берлин понимал, что как он ни любит итальянскую оперу и ни ценит ее больше всего на свете, но заниматься ему надо другими вещами. Его вело желание не просто построить забор между Ними и Нами, его вела свободная мысль, которая должна понять, что же это такое, почему оно так важно для огромного количества людей и способно производить с ними такие серьезные вещи?

Это мне было интересно по необыкновенному благородству и самостоятельности, которые исходили от сэра Исая. Он ни в какой ситуации не мог оказаться в ложном положении.

Никогда не лгал ни себе, ни другим. И эта безотказность потрясающая. Про себя он говорил: я как таксист – вызывают, еду. Поэтому большая часть им написанного написана на заказ и по случаю. А отдушиной или, вернее, фоном, далеким горизонтом, служила, конечно, итальянская опера. Он, как и его студенты, ходил, не снимая наушников, только они слушали Битлов, а он, соответственно, Пуччини и Верди.

* * *

Из советской литературы уже и в юности мне нравилась только та, которая одной ногой или даже обеими ногами стояла во второй культуре. Я очень высоко ставлю Гроссмана, хотя понимаю, что это не совсем моя литература. Для меня очень значим Шаламов, и не только как потрясающая человеческая фигура, но именно как писатель, который в каком-то смысле не состоялся. Потому что эта была другая версия лагерного сознания, не солженицынского совсем, – которая, может быть, выходила на самый радикальный западный экзистенциализм, хотя сам Шаламов, кажется, ничего про это не знал или ему это было не интересно. Но эта была очень радикальная версия того, через что, по-моему, прошла Германия, когда рассчитывалась со своим нацистским опытом. То, что делала группа «47» в литературе, от Бёлля и Кёппена до Бахман и Грасса, когда всерьез, безо всяких иллюзий и очень безжалостно разбиралась с тем, что произошло с человеком, и как он позволил с собой это сделать, и что из всего этого последовало. Конечно, по-настоящему Шаламов всем, что он написал, поставил вопрос о том, что с самим основанием человека и основами человеческого общества произошли в советских условиях какие-то непоправимые, необратимые вещи. Последствия их, так он предполагал, будут чрезвычайно страшными, но люди даже не узнают и не поймут эти последствия, потому что это с ними происходит, в них происходит.

Был еще, конечно, Искандер – и «Козлотур», и «Сандро из Чегема» (журнальный, изуродованный цензурой). В меньшей степени – тамиздатский Битов «Пушкинского Дома», к такой литературе я отношусь более спокойно. Был интересен целый ряд писателей, которые находились на грани советского. Городской Трифонов последних его повестей, посмертно изданного романа «Время и место» – это для меня очень ценно. Но вот о Петрушевской, например, я не могу сказать, что она – советский писатель, а опыт прозы Петрушевской тех лет, тогдашней ее драматургии очень был интересен. В конце 1970-х я читал доставшуюся мне на несколько часов папку ее машинописных текстов и просто не верил, что такое можно написать (можно – не в смысле «позволено», а в смысле – под силу человеку моего времени в моей стране).

Значимые вещи были и в поэзии старших современников. В первую голову – Тарковский. Некоторые негромкие имена, скорее сбоку: тогдашний тоненький Кушнер, тогдашний редкий Чухонцев (впрочем, сегодняшний тоже, а вот Кушнер – уже нет). Хотя поэты непечатавшиеся были мне, по юношеской привычке, всегда роднее – и сверстники, и старшие, о друзьях не говорю. Здесь первое место принадлежало Бродскому, особенно – после его тамиздатского сборника «Часть речи».

На слуху и в памяти – моей и всеобщей – был Окуджава. Но «Возьмемся за руки, друзья» – это не мое совсем. Окуджава был тип человека в здешних условиях уникальный. Человек обязательный, человек взаимный, человек благородный, никогда не ставивший собеседника ниже себя, просто не способный к этому. Ему бы просто в голову это не пришло, иначе зачем общаться? Чтобы показать, что ты выше? Как поэт он, в некотором смысле, был даже не отдельный голос, а что-то вроде облака: его хватало на многих, он в них невидимо присутствовал, осенял их. Для меня особенно дорога у него нота того, чего еще нет, но что уже определяет жизнь. Этот «еще неясный голос труб», эта песенка «еще очень не спетая». Если этого нет, то тогда ничего не надо, и его, скорее всего, не будет. Нота отсутствующего, которое тем не менее

тебя ведет, правит твоей жизнью. Но правит не на манер правителя, а ее освещает, вытягивает из болота, – вот это, конечно, самое дорогое.

* * *

Меня никогда не пугали и сейчас не пугают два вопроса, которые очень пугали и пугают многих людей, связанных со словесностью, будь то ее читатели, будь то ее преподаватели, будь то сами писатели или их критики. Я никогда не задавался страшным вопросом: «Что станет с литературой?». Если уж она в XX веке творилась в таких местах, как Освенцим и ГУЛАГ, то ничего с ней не произойдет. Она будет всегда.

Точно так же меня не пугает, что будет с классикой. «Что сделали с Пушкиным? Что будет теперь с нашим Пушкиным?» Ничего страшного не будет. За Пушкина я абсолютно спокоен. Всегда был и сейчас остаюсь.

Ну, будут такие вещи, которые со всеми творятся, когда под Баха танцуют на коньках, а Рембрандтом или Модильяни украшают рекламу. Ну конечно, будет это и с Пушкиным, будут там какие-то строки поперек улицы на перетяжке висеть (строка Тарковского о бабочке висит же в метро). Но, по сути, ничего страшного не произойдет. Роль его – основополагающая. Не читают молодые? Он через другие зеркала высветится. Будет значим для каких-то других поэтов и писателей, которых эти молодые полуобразованные ребята уже будут читать как своих. Или каким-нибудь другим зеркалом откроется, может быть, биографическим, человеческим. Я думаю, тут все будет в порядке.

В культуре ничего не исчезает, но меняет место и масштаб, а значит – меняет функции. Конечно, такой официальной роли, которую классика играла в СССР, или той, когда ее, напротив, «нам» нужно было отвоевать у советского государства, сделать для себя и для «наших» другого Пушкина, другого Толстого, впихнуть туда Достоевского, который никак туда не впи- хивался, или там Лескова, – такой роли она играть уже не будет. Те «мы» ставили себе целью сделать издающимися поэтами Тютчева и Фета. Ну, сделали, издаются. Анненский уже изда- ется, Кузмин и Волошин, Цветаева и Мандельштам, Ходасевич и Пастернак. В этом смысле ни с классикой, ни с литературой в целом ничего катастрофического не произойдет. Судьба в культуре – не гибель, а метаморфоза. Это может быть печально, даже мучительно для отдель- ного человека, но в этом всегда открываются какие-то новые возможности – для тебя, для дру- гих, для третьих.

Страсть к другим¹⁴

Людям из мира книг и библиотек, давно знающим, кто такая Валерия Дмитриевна Стельмах, в нынешний юбилейный день ничего объяснять не нужно; тем, кого она почитала своим дружественным вниманием, – тем паче. А разговор для всех остальных придется начать с вещей более общих и далеких, с 1960-х годов.

Именно этим временем датируются попытки отдельных энтузиастов в библиотечном мире организовать что-то вроде социологических исследований чтения, читательской публики – попытки дать себе отчет в том, каков характер того конкретного общества, которое все мы составляем и без понимания которого вопросы о том, кто, что, где, зачем и с какими для себя и других последствиями читает книги, безответно повисают в воздухе. Желание наполнить жизнью и смыслом сводки официальной статистики соединилось у первых исследователей читательских интересов с требованиями строгости и доказательности, со стремлением опереться на возможности нарождавшейся в те же годы отечественной социологической науки. Среди пионеров подобного подхода к книгам и читателям была Валерия Дмитриевна^{15*}. Свидетельства тому – крупномасштабные социологические опросы 1960–1970-х годов, проведенные по ее инициативе и при ее самом деятельном участии; их результаты легли в основу монографий «Советский читатель», «Книга и чтение в жизни небольших городов», «Книга и чтение в жизни советского села», с которыми, если иметь в виду богатейший эмпирический материал и основательный подход к его сбору и обобщению, в те десятилетия просто-таки нечего поставить рядом (сегодня этот материал наполнился еще и историческим смыслом, к нему стоило бы вернуться).

Позитивная заинтересованность в жизни современников, равно как и в собственном профессиональном деле, всегда отличавшая В. Д. Стельмах, – явление в советских условиях вообще крайне редкое. Так что уже один этот социальный факт заслуживает всяческого удивления и глубочайшего уважения. Но, быть может, еще реже встречаются желание, упорство, смелость и умение придать подобному человеческому неравнодушию и исследовательской пытливости устойчивую коллективную форму – построить, говоря социологическим языком, *социальный институт*¹⁶, объединив в нем на общую пользу силы и навыки разных участников одного дорогого для них дела. Таким институтом стал сектор книги и чтения научно-исследовательского отдела Библиотеки Ленина, которым Валерия Дмитриевна многие годы руководила. В коллективной работе здесь соединялись в разные годы усилия самых разных специалистов. Помимо прямых сотрудников сектора, в дело вовлекались крупные тогдашние социологи, демографы, психологи – исследовательские проекты ГБЛ консультировали Леонид Гордон, Владимир Шляпентох, Юрий Арутюнян, Алексей А. Леонтьев и многие другие, они участвовали в работе конференций по комплексному исследованию чтения и читательских интересов, их статьи входили потом в итоговые сборники «Социология и психология чтения», «Чтение: проблемы и разработки». С конца 1970-х годов в секторе несколько лет действовал междисциплинарный семинар¹⁷, на котором выступали крупные социологи, филологи, историки (чтобы оценить калибр, назову лишь Мариэтту Чудакову и Нину Брагинскую, Николая Котрелева и Александра Осповата, Дмитрия Харитоновича и Алексея Левинсона). И все это, напоминая, нужно было организовать и день за днем, год за годом держать на плаву. Да еще не дать дура-

¹⁴ См.: Валерия Стельмах. «Отношение к книге сильно изменилось» (<http://urokiistorii.ru/article/51818>). *Сост.*

¹⁵ Текст 2005 г. из домашнего архива Бориса Дубина. *Сост.*

¹⁶ Здесь и далее в печатных текстах Б. Дубина курсив авторский. *Сост.*

¹⁷ Обо всех его заседаниях можно прочесть в № 132 (2/2015) журнала «Новое литературное обозрение» в разделе In Memoriam (Памяти Бориса Дубина), составленном Абрамом Рейтблатом. Там же – библиография публикаций БД с 1970 по 2014 г. Благодарю Абрама Ильича за эту масштабную работу. *Сост.*

кам, завистникам и трусам в начальнических кабинетах угробить дело одним росчерком пера – в тогдашние шакалы времена подобное случалось сплошь и рядом.

Крупным человека делает страсть – страсть к другим, к познанию и творчеству, к миру и делу (в жизни действительно крупного человека они перегородками не отделяются). Дать этой страсти развиться в себе, увидеть и помочь ей не угаснуть в окружающих – черты недюжинного ума, редкой чуткости, сильного характера. Поступки Валерии Дмитриевны Стельмах всегда отличает социальная определенность, как ее облик – человеческая доброкачественность. Не буду говорить о ее обаянии, эмоциональной щедрости, простоте в общении с самыми разными людьми. Разговор с ней неизменно интересен.

Я обязан Валерии Дмитриевне многим – и в жизни, и в профессии. Мы тринадцать лет проработали вместе в Ленинке и с тех пор сотрудничаем уже два десятилетия поверх ведомственных барьеров. От себя, от своих ближайших коллег Наталии Зоркой и Льва Гудкова (а они стали моими товарищами и друзьями именно в секторе В. Д. Стельмах¹⁸) я рад ее сегодня от всей души поздравить.

¹⁸ См. также: Борис Дубин о временах Борхеса и начале социологии. Первая часть беседы с Любовью Борусяк в цикле «Взрослые люди» (<http://polit.ru/article/2009/10/25/dubin1/>). *Сост.*

Место, внушающее надежду¹⁹

Сначала несколько слов в целом о Польше. Я недавно где-то прочел – видимо, это было в журнале «Новая Польша», теперь не могу найти источник, – такие пафосные слова: «История Польши – это многовековая история борьбы за честь и свободу». Слова, конечно, высокие и патетичные. Но меня это как-то сразу резануло. И я подумал: разве в моей стране было меньше бесчестья? Меньше несвободы? И все-таки я (да, думаю, и никто) про историю России не сказал бы, что это была «борьба за честь и свободу». И потому значение Польши, скажем, для меня – но не думаю, что я тут особенно оригинален, – как раз в этом и состоит. Образ Польши: и то, что доходило из Польши, и то, что доходит сейчас, – это дает надежду. Эта надежда когда слабее, когда острее, но Польша – место, которое внушает надежду. Внушает интерес.

Теперь, собственно, о моих не таких уж плотных отношениях с Польшей, и даже с Польшей скорее воображаемой, чем реальной.

Для моего поколения и людей чуть постарше, то есть тех, которые были молодыми в конце 1950-х – начале 1960-х, тогдашнее польское кино, а через кино и в связи с кино – польская литература, это тоже было вот таким пятнышком надежды... Казалось, что это может как-то повлиять и на то, что у нас здесь происходит. Притом что кино ведь тоже было очень неоднородное. Комедий много привозили, чего только не было – но был среди них особый слой... Конечно, Вайда прежде всего («Поколение», «Канал», «Пепел и алмаз»), Мунк («Эроика» и «Пассажирка»), Кавалерович тогдашний («Мать Иоанна», «Поезд» – у нас в прокате он назывался «Загадочный пассажир»). А это вело к книгам, вело к Ивашкевичу, Анджеевскому, к другим польским писателям того времени. И это было очень важно. Притом что на самом деле это кино как будто бы не было ориентировано на то, что сегодня происходит в Польше. Это было, как сейчас сказали бы, ретро, но и это тоже было важно для нас, зрителей, – сама эта беспрестанная попытка разобраться с собственными делами, включая собственное прошлое. Вот эта пытливость по отношению к настоящему и прошлому, этот неослабевающий интерес, в том числе очень критический, даже граничащий (как у Гомбровича, которого я гораздо позже читал) с издевкой в адрес национального гонора, самолюбия, национальных мифов и так далее, – все это было чрезвычайно важно для нас, читателей и зрителей, и интересно как возможность вот так относиться к собственному настоящему и к собственному прошлому.

Толчок к переводам с польского был дан в самом начале 1970-х годов, когда я познакомился с замечательным переводчиком, в том числе и польской поэзии, Анатолием Гелескулом, человеком, старше меня на двенадцать лет, который – как-то сразу так получилось – стал для меня кем-то вроде старшего литературного брата. Он перевел замечательного польского поэта, тогда мне совершенно неизвестного, Болеслава Лесьмяна – человека, кстати сказать, к России и к Украине имевшего отношение, учившегося в Киеве и даже немножко писавшего по-русски. Сначала я услышал эти переводы с голоса, на вечере в группоме литераторов при издательстве «Художественная литература». Потом вышла небольшая книжечка²⁰. Не уверен, что ее заметили, публичной славы никакой у книжки не было. Тогда никаких презентаций, «промоушенов» и прочего в таком роде не было совершенно. Но те, кто вообще читал поэзию, которая чего-то стоила, они тогда эту книжечку, конечно, просто рвали из рук друг у друга. И я тогда разговаривал с Гелескулом. Он говорит: «Ну что вы французов переводите? Кого там переводить-то – разве что Нерваля? Учите испанский, учите польский. Переводите испанцев и

¹⁹ По материалам интервью, взятого в 2006 г. Татьяной Косиновой для ее книги о российско-польских культурных связях. Сост.

²⁰ Лесьмян Б. Стихи / Вступ. статья А. Гелескула. М., 1971.

поляков – вот где великая поэзия. И старая и новая». Я, в общем, послушался старшего товарища. Накупил учебников, словарей, начал учить испанский и польский, насколько смог.

И у меня есть некоторые слабые, отчасти даже легендарные, по семейной легенде, польские корни. Моя бабушка по отцу Мальвина Иосифовна Лапинская была вроде бы наполовину полячка, наполовину еврейка из маленького села Требухивцы под городом Бучачем. И мой дед, отец отца, солдат на постое, покрал ее во время Первой мировой из этого самого села, привез к себе на Украину, в село Иванковцы, под Знаменкой, где и родился мой отец. Бабушку я видел не так много. Я жил несколько раз подолгу у них там, в деревне: когда сестра моя должна была родиться, меня родители туда отправили, и еще несколько раз. То есть помнить-то я ее помню. Но в детстве эта польская ниточка вроде бы ничего не значила. А теперь с годами это мне как-то понадобилось. И я начал это вспоминать, и для меня это отчасти стало объяснением, оправданием интереса к Польше. Конечно, дело здесь не в крови, не в семейных связях, а в том, с чего я начал.

Представьте себе глазок, который дыханием и теплом отогревают в мерзлом окне. Вот Польша – что-то вроде такого глазка, куда глядишь в надежде, что вдруг и у нас здесь что-нибудь подобное возможно.

Потом, с середины 1970-х, я начал понемногу переводить польских поэтов. Самой большой работой был Кшиштоф Камиль Бачинский, книжка которого вышла в 1977 году в том же издательстве «Художественная литература». Это был совершенно поразительный опыт. Бачинский – гений, конечно. Природный гений, который в восемнадцати-, девятнадцати-, двадцатилетнем возрасте замахивался на такие вещи в литературе, что один замах уже много бы чего стоил, а ему еще многое и удалось. Один из самых гениальных, просто по природной гениальности, польских поэтов. И это было потрясающе интересно нам всем: Гелескулу, мне, моим сверстникам, которые как-то к этому тогда прикоснулись (Георгию Ефремову, например, – он стал известен потом отличными переводами с литовского), – переводить мальчика, который в полтора раза моложе нас и который вот такие замечательные вещи в стихах делает. Тем более что это были еще и очень польские стихи. Мне трудно себе представить, что в какой-то другой поэзии могли быть такие стихи. Стихи, очень тесно связанные с польской мифологией – очень высокой и даже, пожалуй, исторически помпезной (Вайда в «Пепле» и «Свадьбе» ее выворачивал наизнанку). Но у мальчика это оборачивалось совсем другими вещами. Он и его сверстники – их потом переводили и Гелескул, и Наталья Горбаневская – тогда то ли предчувствовали, то ли понимали, то ли это в воздухе носилось, что встреча с историей вот-вот произойдет. И она произошла буквально через несколько месяцев после того, как мальчик эти стихи писал: оккупация, подпольный университет, участие в партизанских действиях... Он погиб во время Варшавского восстания, молодая жена-девочка погибла там же. И вот это соединение очень интимной любовной лирики с ощущением, что человек находится в истории, что он ее, собственно, и делает, пусть даже при этом и гибнет, – вот это тоже, конечно, было редкое и нужное ощущение. Может быть, в последний раз оно было у нас в стране у ифлийских мальчиков, которые тоже чувствовали, что не сегодня-завтра они вступят в эту самую историю и, в общем, не так легко для них дело закончится. Как оно, собственно, и произошло. По крайней мере, после войны – Второй мировой, или Отечественной, как в России любят говорить, – конечно, этой пророческой, провидческой, мифологической ноты уже, в общем, почти не звучало в русской поэзии. Эти органы были насмерть отбиты. Но тем дороже была эта нота, из польской словесности пришедшая. И неразрывность этого интереса к прошлому с пониманием того, что тебе предстоит здесь и сейчас. И это неотвратимо, нельзя шагнуть в сторону.

Я думаю, отсюда и та роль, которую играли Польша, польская словесность, польское кино в жизни всех, кто формировался в 1950–1960-е годы и создал потом диссидентское движение (я к нему не принадлежал, но кое-какие дружеские связи, знакомства с этой средой – через СМОГ, через филфак университета – были). Странное дело: литература и кино, которые по

большей части не стремились, в отличие от соцреализма – что польского, что советского, – быть политикой, тем не менее именно своим духом свободы, уважением к личности, к человеческому достоинству несли политический заряд (диссидентство – один из примеров). В особенности для советской страны, в которой как бы никакой политики, кроме официальной, не было и быть не могло. Вот это другое понимание политического – экзистенциальное, если угодно, – оно тогда шло из Польши, через наш образ Польши.

Последнее в этом смысле впечатление было связано с Чеславом Милошем. Мой университетский и библиотечный знакомец, полонист, год или два стажировался в Польше, это был год 76-й, 77-й. Он привез оттуда книжки и среди прочих – такую как бы даже не книжку, а что-то похожее на общую тетрадку в картонном переплете. Это была десятая перепечатка с десятой копии подпольного гектографического издания стихов Милоша с его портретом на обложке. Ничего нельзя было разобрать практически ни на портрете, ни в стихах, настолько буквы уже расплылись от бесконечного копирования. Но что дошло? Дошла легенда. Милош был человек легенды, и она была вот, совсем рядом. Это было совмещение времен, когда именно сейчас, оказывается, тоже могут происходить легендарные вещи. Я начал искать все милошевское, что можно найти. Все-таки у поляков Милош был не до конца закрыт, в антологиях можно было что-то отыскать (была такая замечательная антология, составленная Станиславом Грохвяком). Я стал читать, а потом, уже через много лет, даже немножко и переводил стихи, прозу Милоша. От тогдашнего открытия был, конечно, прямой путь к «Солидарности», к введению военного положения. Вот такой, собственно говоря, конец легенды. Который оказался новым началом, потому что потом пришел 1989 год (соответственно, сюжет нашего разговора – если не брать предков – укладывается примерно между серединой 1960-х и 1989–1990 годами).

В 1989 году мы впервые с коллегами под предводительством Юрия Левады поехали за рубеж. Это было такое межуниверситетское сборище в Дубровнике, где собрались социологи всех стран бывшего – он еще не стал бывшим – социалистического лагеря, с тем чтобы поговорить о том, что происходит, – все явно и стремительно начало меняться. Причем было представлено поколение учителей, как Левада и как его коллеги, туда приехавшие, – чехи, поляки, венгры, болгары, – и было поколение нас, учеников, которые одновременно и учились у старших, и что-то рассказывали о том, как сами понимают происходящее. И вот в один из вечеров возвращаемся мы в гостиницу с этих своих занятий, а по телевизору в холле передают встречу Валенсы с правительством, как они заключают соглашение. И это, конечно, было замечательное, непередаваемое ощущение... Опять-таки это было опережающей надеждой. У нас еще только что-то зашевелилось, но мы сами еще оставались косными, сами пока еще только раскачивались, не осмеливаясь поверить в то, что действие возможно, изменение возможно. А тут это уже делалось реально. И это опять была история, которая происходит прямо на глазах и где соединяется их прошлое с их настоящим и наше прошлое с их настоящим. Здесь, конечно, много еще было наших, не осуществленных в свое время надежд. Вот такая история. Ничего другого, боюсь, нету.

А что касается развития нашей социологии, действительно многое шло через поляков. Правда, восприимчивого народа в 1960–1970-е годы не так-то уж много было. Левада, конечно, Игорь Кон, Ядов, Грушин, Шляпентох... В 1990-е годы был такой биографический проект у Геннадия Батыгина «Советская социология в биографиях». И вышла большая книга, она называлась «Советская социология 1960-х годов в очерках и биографиях» – как-то так. Там поколение отцов-основателей рассказывает о том, как все начиналось. И в том числе там есть такая тема, Батыгин об этом специально расспрашивал, – что вы знали о западной социологии? Батыгин, к сожалению, умер, он многое, конечно, мог бы рассказать, потому что он специально собирал эту информацию. Его вопрос был: что вы знали о зарубежной социологии? Как выходили на книги? Были ли контакты? Насколько помню, Щепаньский тогда много значил для старшего поколения социологов, Клоковская, Внук-Липинский. Через «Пшеглэнд социоло-

гичный» шло много информации – и по теории, и по истории социологии, и по технологии исследований. В Польше раньше добрались до американской социологии, барьер запретов был пониже, много переводили – от классиков до новинок, многое начали пробовать и в теории и в эмпирии. И это касалось не только теоретической и общей социологии, но всяких отраслевых вещей.

Скажем, когда я в 1970-е и в начале 1980-х работал в Библиотеке Ленина и у нас там складывалась некая социология чтения, то польские социологи чтения – Секерский, Анкудович – были в этом смысле для нас ориентиром. Они гнездились в Польской национальной библиотеке в Варшаве, как и мы, были тоже при главной национальной библиотеке, но у них уже были очень серьезные работы по изучению чтения, по изучению восприятия (Секерский как раз этим занимался). По тому, как в читательских интересах представлена социальная структура общества, как можно понимать социальные процессы через то, что разные *группы* – а не выдуманный пропагандистский монолит – выбирают для чтения, через механизм литературных премий, который в Польше был гораздо более развит, чем в России. В России он очень заофициальный, а у поляков это было (или нам так казалось тогда отсюда) гораздо свободнее. Там институт премий действовал, и писательские премии, читательские конкурсы в этом смысле позволяли проявить интересы людей, мотивацию людей, ценностные дефициты и так далее. То, к чему здесь мы только-только приближались. Валерия Дмитриевна Стельмах руководила в Ленинской библиотеке сектором книги и чтения и, собственно, налаживала социологию чтения как дисциплину, пытаясь вовлечь в это дело по максимуму тогдашних серьезных социологов наших здешних, отечественных, а с другой стороны – налаживала международные контакты. В том числе контакты с поляками, венграми, чехами, болгарами, которые были проще, чем контакты с американцами, англичанами и т. д. У нее были сильные польские связи. И через нее мы познакомились и даже подружились с несколькими варшавскими библиотечными социологами. Лучший из них – самый близкий наш друг Януш Анкудович, он в 1960–1970-х выпустил несколько книг по социологии чтения в Польше. К сожалению, Януш безвременно умер. Очень славный был человек, очень глубокий и интересный. И очень польский. Вот, собственно, и всё.

Как я стал переводчиком

*И снова скальд чужую песню сложит
И как свою ее произнесет.
Осип Мандельштам*

Если бы не предложение и просьба моего давнего друга, коллеги, замечательного немецкого филолога-русиста, историка, социолога советской и постсоветской литературы Биргит Менцель²¹ сделать для ее студентов, будущих переводчиков, сообщение на тему, вынесенную в заглавие, я, скорее всего, навряд ли предался бы рассуждениям о себе и собственном прошлом. О современном российском обществе, общественном мнении в России, российских массмедиа я в Университете Гермерсхайма, филиале Майнцского университета имени Иоганна Гуттенберга, по приглашению Биргит Менцель уже дважды рассказывал. Но сознание у меня устроено антидневниково и антимемуарно в том простом смысле, что, как мне кажется, за взрослого человека либо говорят его дела, либо о нем/о них не стоит и разговаривать. Однако после электронной записки Биргит я подумал: вот, может быть, повод рассказать молодым и находящимся вне российской ситуации людям о некоторых более общих вещах – например, об исторических обстоятельствах, которые, кажется, стали у нас в стране что-то слишком стремительно забываться, о случайностях, из которых чаще всего в этих обстоятельствах ткалась жизнь, а главное – о людях, с которыми эта жизнь вроде бы случайно сталкивала, но которые, что самое интересное и важное, из случая нередко становились биографией и судьбой. Говоря короче, я не без стеснения, но с благодарностью согласился.

1

Рассказывая о первых шагах в работе над переводами европейской и латиноамериканской поэзии – а она для меня началась тридцать пять лет назад, в 1970 году, – неизбежно приходится говорить о том, чего уже нет. Нет той страны, СССР, где это происходило. Во многом нет уже советского общества, едва ли не всего устройства жизни тех лет. Нет того конкретного издательства «Художественная литература» в пятиэтажном особняке на Ново-Басманной улице в Москве, где это началось и где столько – бесповоротно – осталось. Нет многих тогдашних позднесоветских институций, одной из которых, среди прочих, было «издательство», «государственное издательство», как нет и основной фигуры той официальной институции – «редактора».

Задачей редактора (его роль, как и роль «учителя», «инженера», «врача», как все сословие «интеллигенции», сложилась еще в ходе сталинской культурной революции конца 1920-х – первой половины 1930-х годов, периода «учебы» советских писателей и читателей) было, во-первых, довести попавший в его руки оригинальный или переводной текст до некоторых средних кондиций языковой правильности и литературного стиля, которые делали написанное пригодным для печати, а во-вторых – следить за тем, чтобы в печать не проникло ничего недопустимого с точки зрения цензуры, в самом широком спектре – от политики до эротики. Спасением для человека пишущего, если он был не халтурщик и не карьерист, становился в таких

²¹ Ее статьи публиковались в журналах «Новое литературное обозрение», «Неприкосновенный запас» и др., фундаментальная монография «Гражданская война за слово: российская литературная критика времен перестройки» (2001) вышла в русском издании (СПб.: Академический проект, 2006), как и глава «Литературная критика и конец советской системы: 1985–1991» в коллективной монографии «История русской литературной критики: советская и постсоветская эпохи» (М.: Новое литературное обозрение, 2011), которая была написана с моим участием.

условиях «хороший редактор» (как для человека, учащегося в советской школе, – «хороший учитель», а для человека лечащегося – «хороший врач»).

Хороший редактор работал с каждым пишущим человеком отдельно и видел свою цель в том, чтобы по возможности помочь пишущему, если в нем чувствовались способности, попасть в печать, а попутно помочь автору сделать то, что он написал – опять-таки по возможности – лучше. Не «правильнее», не «глаже», не «публикабельнее», а именно лучше. Такой редактор брал на себя в тогдашних условиях, как легко понять, определенный риск. Но при этом он вместе с автором поддерживал и даже, случалось, поднимал уровень литературы, развивал ее традиции, отстаивал ее достоинство, а с другой стороны, проявлял и распространял в окружающей среде человеческое благородство, понимание, такт. Мне повезло: я начал работать как переводчик именно с таким редактором и потом встречал в своей работе нескольких таких же.

Но тут придется отступить еще на несколько лет назад. В 1964–1965 годах в Москве возникла группа молодых литераторов, назвавшая себя СМОГ (сокращение по первым буквам от Самое Молодое Общество Гениев или Смелость – Мысль – Образ – Глубина либо еще одна расшифровка – Сжатый Миг Отраженной Гиперболы), в ту группу входил и я. Об этом уже кое-что написано в период перестройки и в последующие годы. Группа, у которой никогда не было точного состава и строгой структуры, была как бы одним из последних воплощений хрущевской «оттепели» в кратком, но насыщенном событиями историческом промежутке между процессом Бродского в феврале 1964 года, снятием самого Хрущева в октябре, делом Даниэля и Синявского осенью-зимой 1965–1966 годов и подавлением Пражской весны в августе 1968-го. Так вот, среди нескольких публичных выступлений смогистов – а группа просуществовала лишь до 1966 года, после чего понемногу растворилась, – был вечер публичного чтения и обсуждения наших стихов в Центральном доме литераторов в Москве, своего рода писательском клубе и вместе с тем – официальной резиденции Союза писателей. Акция состоялась в декабре 1965-го. Нам, выступавшим (Леониду Губанову и Алене Басиловой, Владимиру Батшеву, Сергею Морозову, Татьяне Ребровой и нескольким другим), было примерно по двадцать, большинство слушателей были намного старше. Среди слушавших был крупный поэт военного поколения Борис Абрамович Слуцкий (мы тогда еще не знали сотен его стихов, по цензурным условиям остававшихся в рукописи). Он вместе с несколькими другими писателями на том вечере – Давидом Самойловым, Львом Славиним, Лидией Либединой, Семеном Кирсановым – заступался за нас, стараясь как-то смягчить негативные или даже репрессивные выводы, которые могли сделать официальные литературные и надлитературные власти.

Слуцкому особенно понравились стихи одного моего однокашника по филологическому факультету МГУ Михаила Елизарова, и он пригласил его заходить, показывать новые вещи. В одну из поездок к Слуцкому Миша взял с собой меня, потом мы стали время от времени звонить Борису Абрамовичу, заезжали к нему показать новые стихи, просто поговорить, советовались с ним, когда власти арестовали в 1966 году одного из смогистов, нашего друга и талантливого поэта Владимира Батшева (Володя был потом несколько лет в ссылке в Сибири, а позднее эмигрировал и сейчас живет во Франкфурте-на-Майне, издает журналы «Литературный европеец» и «Мосты», написал большую историческую монографию о генерале Власове, которая, кстати, награждена престижной международной премией, но остается, кажется, неизвестной в России).

Слуцкий старался – хотя это было занятием почти безнадежным – как-то помочь нам, Елизарову и мне. Рекомендовал нас в газеты (например, в «Комсомольскую правду»), на радио и, среди прочего, направил с запиской в издательство «Художественная литература» к своему старинному знакомцу, редактору Олегу Лозовецкому – под его редакцией только что вышел тогда в свет томик избранных стихотворений Шарля Бодлера, которые переводили крупные советские мастера, и началась работа над таким же томиком Поля Верлена. Нас с Елизаровым на филологическом факультете учили французскому языку, а до этого в школе и с частными

педагогами мы занимались английским, так что по молодости и нахальству считали, будто этого вполне достаточно, чтобы браться за переводы. Так или иначе, переводить Верлена мы тогда не решились, но издательство и редактора я запомнил. И когда в 1969–1970 годах я – из зависти к другу, замечательному поэту Сергею Морозову, который тогда вдруг перевел несколько вещей Гейне и Ленау, – попробовал переложить несколько стихотворений Бодлера, то понес сделанное именно Лозовецкому в Гослит (так по-старому, еще до войны, называлось издательство «Художественная литература»).

Переводы, как теперь понимаю, были плохие. Но умный и опытный редактор все же, кажется, увидел в них какие-то проблески, познакомил меня с удивительным переводчиком более старшего поколения Анатолием Гелескулом (Гелескул, которым я после его переводов середины 1960-х из Лорки и Вальехо безоговорочно восхищался, стал моим другом и, я бы сказал, учителем, хотя сам он себя учителем – ни моим, ни еще чьим-то – никогда не считал), привел в испанскую и польскую редакции того же издательства, с которыми я потом много лет сотрудничал. Наконец Лозовецкий предложил мне переводить стихи французского «парнасца» Теофиля Готье для двухтомника избранных сочинений, который начал тогда готовить. Готье – поздний, уже разочарованный романтик, который перегорел, но стоически держится тем, что довел до блеска свою стилистическую выдумку и сковал ее строжайшей стиховой формой. Из его виртуозных стихов как будто бы изгнано все личное, непосредственное, случайное. В 1910-е годы его переводил на русский язык Николай Гумилев, но публиковать Гумилева и даже его переводы в Советском Союзе настрого запрещалось.

Мне тогда были ближе всего переводческие работы Бориса Пастернака, их высокий лирический градус, щедрое просторечие, свободная, размашистая интонация, даже некоторая грубоватость. Работать над Готье с такими привычками было трудно, он был чужой, приходилось каждый день перелаживать себя. Я не только без конца правил отдельные слова и строки, но несколько раз целиком переписывал наново уже переведенные стихи, в особенности небольшую, но емкую вещь «Слепой» и пространное, очень красивое стихотворение, почти поэму, «Мажорно-белая симфония». Тогда же, в 1970 году, я женился, мы с молодой женой отправились в поездку на Кавказ, на следующий год – в Крым, но и оттуда я все еще досылал Лозовецкому последние поправки и переделки. В 1972 году двухтомник вышел, в нем дебютировали несколько начинающих литераторов (один из них – известный сегодня поэт и переводчик англоязычной поэзии Григорий Кружков), там были четыре моих перевода. Это и стало для меня переводческим дебютом. Позднее я еще не раз переводил с французского, но по большей части – XX век, от Гийома Аполлинера до Ива Бонфуа.

В дальнейшем я довольно много переводил испаноязычных поэтов (язык я осваивал самоучкой, по совету Гелескула, так же как потом португальский и польский) – от средневековых анонимных песенок до сюрреалистов XX века. Большим счастьем для меня всегда была работа над переводами польской словесности XX века – писем и эссе несравненного Бруно Шульца, лирики гениального, погибшего в Варшавском восстании юноши, Кшиштофа Бачинского, стихов и прозы нобелевского лауреата Чеслава Милоша. У меня к польской речи особое отношение, как к родной; не думаю, будто дело здесь в каком-то «голосе крови» – моя бабушка по отцу была польско-еврейско-украинского происхождения (в такие голоса я не верю, а верю в любовь и память).

Я переводил и с английского, но из стихов – совсем немного, в основном романтиков (Блейка, Шелли, Китса), а больше эссеистику – Исая Берлина, Сьюзен Сонтаг. Из португальцев очень интересной и важной была работа над переводами стихов и лирической прозы Фернандо Пессоа – работа, которую я хотел бы и надеюсь продолжить. Всего несколько раз я брался за переводы с языков, на которых не читаю, – с венгерского, болгарского. По предложению и с помощью моих друзей-унгаристов (прежде всего неутомимой в бескорыстии Елены Ивановны Малахиной) перевел несколько стихотворений Эндре Ади и Яноша Пилинского. Это великие

поэты, но когда не прочитал и не перечитывал стихи сам, не носил и не перебирал их в памяти годами, от сделанных переводов остается ощущение приблизительности. На них – какой-то неудаляемый туманный налет, не до конца прозрачная пленка наподобие бельма.

В 1990-е годы я все больше перевожу прозу, но не повествовательную, а эссеистическую и афористическую – дневники, записные книжки, «стихотворения в прозе» и тому подобные «промежуточные» формы. Мне важно, что такая проза – не отражательная и не повествовательная. А значит, ее авторы и их переводчик не скованы соответствующими условностями, привычками, стереотипами.

2

Из таких переводов составила, например, книга, которая не так давно вышла в петербургском Издательстве Ивана Лимбаха. Она называется «Пространство другими словами»; ее заглавие я заимствовал, с разрешения автора, у французского поэта старшего поколения Жака Дюпена, с которым дружил и которого переводил, он назвал так сборник своих эссе об искусстве. Моя книга составлена из текстов французских поэтов XX столетия, посвященных (или обращенных к) изобразительным искусствам, она начинается горячей журнальной заметкой Аполлинера о Пикассо и заканчивается эссе Мишеля Деги о картине Ватто «Отплытие на Киферу». Для французских поэтов после Малларме, работавшего над переводами из Эдгара По рука об руку с великим Эдуаром Мане, творческое взаимодействие с живописью, графикой, скульптурой – насущная потребность и повседневная практика. Поэты пишут предисловия к каталогам выставок своих друзей-художников, художники работают над книгами друзей-поэтов как их полноправные соавторы. Этот, если угодно, обоюдный «перевод» – черта современной, «модерной» (*moderne*) эпохи, начало которой своей лирикой и критической рефлексией положил Бодлер, напомним только его основополагающее эссе «Художник современной жизни» (1863). Эпоху и поэтику модерна – если говорить о Франции – продолжил через десятилетие после Бодлера уже упоминавшийся Малларме, а в XX веке подхватили (и, в известном смысле, завершили) Аполлинер и сюрреалисты. Ее венцом и итогом стал, как мне кажется, Пауль Целан, а размышления над его стихами, переводами, судьбой и гибелью дали начало – в Германии, во Франции, в Америке, в Восточной Европе – уже нынешней, постмодерной, эпохе.

Особенностям модерна как исторической фазы и как творческой программы в той или иной степени посвящены статьи и заметки последних десяти-двенадцати лет, которые я, по предложению Игоря Клеха, собрал в книгу «На полях письма». Она тоже вышла – в московском издательстве «Запасный выход / Emergency Exit» – некоторое время назад. Главной проблемой модерна, если хотите – его «нервом», по-моему, была проблема Другого. Другого человека (скажем, человека иной цивилизации – чужака; иного социального статуса – отверженного; иного умственного и душевного состояния – ребенка, больного); другой, неведимой реальности – сна, воспоминания, воображения; другого, сдвинутого и перекрученного языка, способного передать непривычное, даже пугающее, но притягательное и необходимое новое.

3

В заключение – несколько слов о том, как я для себя и в ходе собственной работы понимаю перевод. Это суждения практика, а не систематические воззрения теоретика. Образцом такой «практической философии перевода» для меня остаются заметки Борхеса, сопровождавшие его собственные переводческие предприятия, и книги рано умершего французского филолога Антуана Бермана, который был не только глубоким аналитиком теорий перевода у

немецких романтиков, но и блестящим переводчиком немецкой и латиноамериканской словесности.

По Борхесу, главная болевая точка в проблеме перевода – идея окончательного, единственного и неповторимого текста (плюс его столь же единственного и неповторимого автора), а значит, и противостоящая ей идея варианта, черновика. Своего рода «мистика оригинала» состоит в том, что оригинал, с одной стороны, всегда уже есть (поэтому от него недопустимо отклоняться даже в единственной запятой), а с другой – его невозможно достигнуть, почему и всякий перевод приблизителен, а переводы быстро устаревают, тогда как оригинал будто бы вечен. Отсюда – неустранимо двойственная роль переводчика: с одной стороны, он всегда лишь двойник и копиист, а с другой – творец или, по крайней мере, соавтор или даже соперник автора.

Перевод как проблема – «задача переводчика», по известной формуле Вальтера Бенямина, давшей название его основополагающему эссе, – возникает, мне кажется, тогда, когда проблемой становится адресат текста. То есть когда адресат и понимание, употребление текста больше не предопределены его статусом (например, сакральным или домашним) и назначением (скажем, служебным). Текст теперь обращают к чужаку, но такому чужаку, который автору текста бесконечно важен и интересен. Понимание, перевод, передача, истолкование смысла становятся далее, можно сказать, отдельными измерениями текста, почему и возникают особые специалисты в этих областях. Один из таких специалистов, наряду с критиком, историком, преподавателем и другими, – переводчик, профессиональный переводчик.

Пределы его понимания и особенности работы в каждом конкретном случае заданы тем, как он представляет себе адресата, «читателя», а соответственно и «литературу». Отсюда основополагающее для статуса литературы и для работы переводчика значение самой идеи «книги книг», будь то Библия или Гомер, Шекспир, Данте или Сервантес. Отсылка к национальным гениям тут неслучайна: перевод – в том смысле, который меня здесь интересует, – возникает лишь при создании национальных литератур, на разрыве между всеобщим (всемирным, мировым) и национальным, местным. Этот разрыв переводчик и фиксирует в своей работе, и пытается преодолеть.

Определяющий момент – какова дистанция между значимым для переводчика воплощением «всеобщего литературного разума» (высшим адресатом, тем, кто, по его представлениям, знает и понимает в слове и литературе как бы «все») и самым непонимающим из читателей, которому буквально все нужно, напротив, объяснить, «разжевать». В самом общем виде я бы выделил такие принципиальные разновидности перевода и самого подхода к переводимому материалу:

– «буквальный», «точный» перевод (подстрочный, словарный, лингвистический, учебный). Переводчик исходит при этом из идеи подобия или даже однозначного равенства языков, как в элементарном двуязычном словаре или разговорнике, где слева – выражение на чужом языке, справа эквивалент на родном, между ними иногда – транскрипция на условном всеобщем;

– «литературный», «выразительный», «художественный» перевод; для такого переводчика избранный им замечательный текст понятен, а в «родном» языке для его передачи уже есть «всё», нужно только добраться до вторых и третьих планов смысла, до языковых залежей и россыпей – народного разговорного языка, специальных профессиональных языков, социальных наречий и проч. Образцы такого перевода создавал один из лучших советских переводчиков – Николай Михайлович Любимов. Однажды на семинаре для студентов романо-германского отделения МГУ во второй половине 1970-х годов он рассказывал, что составляет для работы словари синонимов, ассоциаций, эпитетов... «Какой, например, бывает смех?» – «Громкий, раскатистый, влажный...» То есть он в этих словарях заранее собирал и фиксировал ресурсы русского народного и литературного языка. Задача переводчика при таком под-

ходе – использовать имеющееся и знать, где его найти. Поэтому лучше, если эти копилки находок будут поближе к переводчику, у него под рукой. (Замечу попутно, что сам я так работать не умею, и мне это не очень интересно. Может быть, дело в том, что я начинал с переводов поэзии. В лирике с «классическими» языковыми умениями и накопленными ресурсами, увы, делать нечего. Главное отличие – в том, что у поэзии язык поэтический, а не просто русский, испанский или французский: он живет не горизонтальной последовательностью идущих слева направо слов, а «вертикальным» измерением, общим строем, который и есть смысл. И этот общий смысл, который введен в само устройство стихотворения, в его ритм вместе с ритмическими отклонениями и переборами, в порядок рифмовки, как в сонете, канцоне или терцинах, про которые Михаил Лозинский говорил, что переводчику дантовской «Комедии» нужно слышать последнюю рифму каждой песни, только еще подбирая первую, иначе не переведешь, так вот – этот общий смыслопорядок, осмысленный строй для поэта и его переводчика важнее, чем отдельное слово, даже самое яркое);

– «истолковывающий» перевод, причем толкованию здесь подлежат не только экзотические слова, возможно неизвестные читателю (их-то как раз легче всего найти по готовым словарям), но прежде всего принципы подбора и соединения слов, то есть сам процесс смыслообразования. Перевод здесь есть вместе с тем комментарий (литературно-критический, культурологический, культурно-языковой, историко-философский и т. д.). Такую работу в России делала и делает, к примеру, блестящий филолог-античник Нина Владимировна Брагинская, наново переведя некоторые сочинения Аристотеля или, уже совсем недавно, тонкий трактат византийца Михаила Пселла о любовном романе;

– «поисковый» перевод; здесь переводчик идет от того, что любой «оригинал» есть в определенном смысле только «черновик», причем он не связан с фигурой автора как непрерываемого авторитета, – текст как бы анонимен и всегда только пишется (продолжается, развивается). В этом смысле всякое высказывание есть «перевод», а в родном языке переводчика тоже нет ничего «готового»: этот язык ему еще предстоит придумать и задним числом обосновать – отметить в нем «свое» или специально подчеркнуть «чужое». Отношение к своему «естественному» родному языку продиктовано для переводчика острым ощущением того, чего в нем нет; иными словами, это отношение к «своему» языку в перспективе «чужого», как к «чужому».

Вот этим последним типом перевода, по-моему, как раз и занимался Борхес. Больше того, он положил такой перевод в основу новой «литературной антропологии»: для него писатель (человек пишущий) – это не Бог-Творец, не всемогущий и всевидящий Демиург, это – и именно с маленькой буквы! – читатель и переводчик. В его понимании перевода – понимании, замечу, крайне радикальном, Борхес в литературе отнюдь не консерватор – как будто бы даже нет такой привычной всем переводчикам характеристики, как знание языка оригинала. Показательно, что переводы, чаще всего обсуждаемые Борхесом, – скажем, поэм Гомера и сказок «Тысячи и одной ночи», – сделаны с языков, которых сам Борхес не знал; он любил повторять слова о том, что Данте и Шекспир тоже не знали греческого, но постоянно перекладывали и транспонировали греческие оригиналы.

Скорее, для борхесовской концепции перевода важны такие качества переводящего, как сознательность, собранность, внимание. Или такие, как способность к перевоплощениям, борьба с повторением, я бы даже рискнул сказать, «не-верность» – неверность тексту, неверность самому себе, сказанному автором или тобой прежде («сознательная и удачная недо-стоверность», скажет Борхес об одном, по его мнению удачном, переводе «Сказок тысячи и одной ночи»). Такие, наконец, как предчувствие будущего, которое все переписет и перетолкует, сознание собственной неокончателности, открытости текста в завтрашний день и непредсказуемости его перемен вместе с изменениями языка, мысли, человеческого сознания. «Его подвело развитие языка», – пишет Борхес об авторе другого перевода «Тысячи и одной

ночи», перевода наиболее популярного среди читателей-современников, но очень быстро устаревшего.

Поэтому главными для Борхеса в его работе были не переводы отдельных книг (таких работ у него как раз немного – «Дикие пальмы» Фолкнера, «Собственная комната» и «Орландо» Вирджинии Вулф, «Варвар в Азии» Анри Мишо), а случайные, полускрытые, «косвенные», говоря его любимым словом, заведомо неклассические формы перевода – отрывок, процитированный в рецензии; фрагмент, переведенный (и нередко с третьего языка-посредника) для антологии; собственный текст, мистификаторски выданный за перевод, и наоборот. Перевод для Борхеса – не просветительская транспортировка всеобщей, готовой и обязательной классики с одного языкового склада на другой. Так называемый реалистический подход к переводу (как и вся стоявшая за ним эстетика реалистического романа XIX века) для него – достояние лишь одной и, в общем, не такой уж длинной литературной эпохи, которая к тому же, по его мнению, завершилась. «До» нее пишущие свободно создавали свои книги из любого подручного материала, крайне мало заботясь при этом о «точности» (поскольку они ведь не знали позднейшего понятия литературы, автора, книги и подобных им экономико-правовых установлений буржуазной эпохи). «После» нее, уже в собственно борхесовское время, все эти категории, не потеряв своего смысла на литературном рынке и в суде, были поставлены под сомнение в культуре. И всякому сколько-нибудь сознательному писателю пришлось теперь задаться вопросами, как и для кого писать, как (по выражению Бориса Эйхенбаума) «быть писателем». Из чего, напомним, и родилась борхесовская литература, вобравшая, наряду со многим прочим, его чувства и мысли читателя, самокритика, переводчика.

Дальние горизонты

Век разума

Мишель Фуко вырос в семье врача и, кроме философского образования, получил институтские дипломы по психологии и психопатологии. В те же юношеские годы он после попытки самоубийства оказался на приеме у психиатров госпиталя Святой Анны в Париже, а через несколько лет приступил там же к работе психолога.

Понятие душевной болезни в медицине и место психиатрии в обществе – главный предмет интересов молодого Фуко.

Этому была посвящена его первая книга «Психическая болезнь и личность» (1954), тот же круг идей он развивает в «Истории безумия...» (1961), которую точно и внятно перевела теперь Ирина Стаф²², и в «Рождении клиники» (1963), готовящейся к русскому изданию. Но перед нами труды не историка, не медика, а философа, который всматривается в подоснову общей мысли, в образы наших фантазий. А занимало Фуко всегда одно: из чего исторически исходит, в каких формах мышления и практики реализуется и во что, в конце концов, упирается сегодня европейская идея человека – человека как носителя разума и как обладателя тела.

Почувствуют ли читатели парадоксальность самого заглавия рецензируемой книги? Автор сталкивает в нем, казалось бы, несовместимое: темные страсти души – и классическую ясность европейского разума, «гордость» индивида Нового времени, его героическую историю – и его «позор», болезнь, отнимающую человеческий облик и толкающую назад, к животной природе. Но в том и состоят мысль и метод Фуко.

Он показывает, что так называемое безумие – продукт коллективной работы: оно целенаправленно делается. И делается именно разумом, который обнаруживает в безумии сам себя.

(Век разума – это и век уязвимости разума, его страхов перед собой и защиты от этих страхов.) Больше того, в подобном самоутверждении «от противного» есть свои вполне постижимые этапы и формы, свои учреждения и специалисты с их интересами, альянсами, борьбой и т. д. – короче, у сумасшествия есть история (история у рассудка и неразумия – одна!).

И разум и история завязаны у Фуко на структуры господства и принуждения. В этом его особый, «археологический» подход к цивилизации. Разные системы знаний и мнений вместе с их молчаливыми предпосылками, касаясь они веры или богатства, здоровья или свободы, тела или духа, неотрывны для Фуко от повседневной практики социальных институций, чья цель – подразделять и нормировать «человеческий материал» (исправительный лагерь и дом призрения, психлечебница и казарма, школа и тюрьма). Все они проводят в жизнь «классический» европейский проект рациональной постройки нового общества и перекройки самого человека – программу контроля над его умом и дрессуры его тела, сортировки особей и выращивания образцов.

Подобная критика авторитарной власти, ее догматических прописей и дисциплинарных резерваций оказалась к 1960-м годам на перекрестке интересов западной науки, журналистики, искусства.

Дебаты вокруг этих тем (напомню вышедшую в том же году, что и монография Фуко, книгу известного американского социолога Ирвина Гофмана «Узилища»²³, опубликованный

²² Фуко М. История безумия в классическую эпоху / Пер. с фр. И. Стаф под ред. В. Гайдамака. СПб.: Университетская книга, 1997.

²³ Goffman E. Asylums: Essays on the Social Situation of Mental Patients and Other Inmates. New York, Doubleday, 1961.

годом позже роман Кена Кизи «Над кукушкиным гнездом»²⁴) во многом подготовили молодежный бунт 1968-го, сдвиги в культуре и обществе 1970-х годов.

В «Истории безумия» Фуко показывает переход от средневековых представлений о неразумии, связанных еще с феодальной иерархией и традиционной религией (герои тут – церковные юродивые, площадные дурни, придворные шуты – фигуры публичные, с которыми общество ведет диалог), через ренессансный «Корабль дураков» и «Похвалу глупости» к уже чисто светской, «земной» трактовке сумасшествия в классическую эпоху. Тут оно переходит в руки «профессионалов», а предметом их внимания выступают праздные и больные, лица неполноценные и неправомочные (персоны приватные, которых изгоняют и изолируют). Развиваются две стратегии борьбы с помешательством – судебная (лишение свободы, поражение в правах) и медицинская (госпитализация, принудительное лечение). Возникает неразрывная пара «врач и пациент». Выстраивается гигантская сеть соответствующих учреждений со своим штатом и распорядком, финансами и архивами, сферами влияния и системами поддержки.

Но еще важнее другое. Идея сумасшествия, образы маньяка, меланхолика или истерички лишаются прежних значений «греховности» и «зла»; они проникают теперь в самый склад западных представлений о человеке, в философию, идеологию, искусство, быт.

И чем четче формулируются параграфы законов и диагнозы врачей, чем выше растут ограждающие помраченных стены, тем неистребимей это присутствие умалишенного в коллективном воображении Запада, тем острее сомнения европейцев в собственном рассудке. И тем трудней свести неразумие лишь к помутнению ума или недугам души, а больного – к объекту изоляции и терапии, тем слабей возможность отгородиться от истин «другого сознания» чисто негативной характеристикой с помощью «без» или «не».

Недаром же вместе с рождением психиатрической клиники безумие, до тех пор безмолвствовавшее, станавшее без слов либо переводимое на язык своих судей, надсмотрщиков и целителей, начинает говорить самостоятельно.

На исходе Просвещения раздаются пророчества Сведенборга, звучат богохульства маркиза де Сада, клубятся кошмары Гойи. Позже эстафету «речей безумца» подхватывают Блейк и Гёльдерлин, Нерваль и Ван Гог, Ницше и Стриндберг, Мунк и Арто... Они – герои заключительных страниц книги Фуко (и его будущих трудов). Но это уже за пределами классической эпохи.

²⁴ Kesey K. One Flew Over the Cuckoo's Nest. Viking Press & New American Library, New York, 1962.

Роман-цивилизация, или Возвращенное искусство Шахерезады

«Почему люди хотят жить не своей, а чьей-нибудь чужой жизнью?» – спрашивает герой памуковской «Черной книги»²⁵ (по-турецки ее заглавие звучит еще лучше: «Кара Китаб»), на самом деле задавая этот вопрос – так уж устроена любая книга! – нам, ее читателям. А каждый из шести изданных на нынешний день романов Орхана Памука прочитали сегодня сотни и сотни тысяч людей не только у него на родине, но и в большинстве стран Запада. Сорокасеми-летний на нынешний день Памук – вероятно, главное открытие в мировой литературе 1990-х годов (вместе с ним событием, кажется, стала и вся новейшая турецкая проза, включая совсем не «женские» романы писательниц Латифы Текин или Эмине Эздамар, в зеркала которых сейчас с интересом вглядывается Европа).

Орхан Памук – представитель старой и состоятельной семьи выходцев из греко-турецкого городка Маниза (древняя Магнезия) неподалеку от Смирны, спорившей в свое время за право считаться родиной Гомера. Учился в американском Роберт-колледже, лучшей стамбульской спецшколе, три года стажировался в США, с тех пор живет в Стамбуле. Дебютировал в 1979 году, двадцатисемилетним. В начале 1990-х итальянский писатель Марио Бьонди окрестил Памука турецким Умберто Эко. «Великий турецкий роман», – представлял «Черную книгу» испаноязычным и французским читателям в 1996 году Хуан Гойтисоло. «Если говорить словами Борхеса и Памука...» – заканчивалась рецензия на американское издание «Кара Китаб» (1995) в газете «Нейшн». Дар воображения, пластическую силу и убедительность Памука сравнивали с энергией фантазии у Германа Гессе и Итало Кальвино, Джеймса Грэма Балларда, Уильяма Гасса, Дженет Уинтерсон. Мне же он напомнил тех – не раз и не два поминавшихся Борхесом – полуночных сказителей, *confabulatores nocturni*, которые слово за слово сплетают в веках бесконечную книгу «Тысячи и одной ночи» и которых звал к себе с восточных базаров скрасить бессонницу легендарный Зу-л-Карнайн, Александр Великий. С коврикатеческой выдумкой повествователей из городского торгового люда Памук соединяет многослойную аллегорическую метафорику ученой поэзии суфиев. Не зря герой нескольких «рассказов в рассказе», составляющих головокружительные галереи и лабиринты «Кара Китаб», – автор знаменитой и беспредельной «Книги о сокрытом смысле», легендарный персоязычный поэт-мистик XIII века Джелаледдин Руми, получивший титул Мевляна (наш господин).

Роман Памука – четвертый у него по счету – был написан в 1985–1989 годах, опубликован в 1990-м, через год известный турецкий кинорежиссер О. Кавур снял по книге фильм (позже вышли памуковские романы «Новая жизнь», 1994, и «Меня называют Красный», 1998, ставшие в Турции уникальными по популярности бестселлерами). Поскольку «Черная книга» – если брать лишь *один* из уровней повествования – детектив («первый турецкий детективный роман», как отмечено в самом его конце), то я не стану излагать сюжет, проследивать повороты запутанной интриги и предвирать криминальную развязку. Скажу лишь, что перед читателями – классический, родовой образец романного жанра, «роман поиска» (*novel of the quest*). Причем поиск этот ведется опять-таки в нескольких направлениях и нескольких смысловых планах: Памук – писатель-симфонист, мастер большой формы; одному из рецензентов его роман напомнил гигантский кристалл Дантовой «Комедии».

Герой романа Галип (Шейх Галиб – эта подразумеваемая переключка важна! – крупнейший турецкий поэт-суфий XVIII века, член братства последователей Руми) несколько дней ищет по огромному Стамбулу внезапно пропавшего брата, известного журналиста, мистифика-

²⁵ Памук О. Черная книга / Пер. с турецкого В. Феоновой; Предисл. Б. Дубина // Иностранная литература. 1999. № 6.

тора, исследователя чужих секретов и любителя головоломных псевдонимов Джеляля и свою, тоже исчезнувшую, жену, поклонницу зарубежных детективов Рюю (по материнской линии она, кстати, принадлежит к роду пророка Мухаммада, а ее имя означает «мечта, греза»). Идущий по следам брата Галип отыскивает по его старым заметкам и памятным для них обоим с детства уголкам города *самого себя*, сливаясь с образом брата, больше того – как бы занимая его место и становясь писателем. «Единственный способ для человека стать собой, – заключает он в финале книги, – это стать другим, потеряться в историях другого».

Джеляль в своих корреспонденциях – ими перемежаются сюжетные главы романа – пытался, среди прочего, разгадать тайну Мевляны: понять загадочную фигуру его духовного возлюбленного-двойника и наставника-муршида, «зеркала его лица и души» Шемса Тебризи, разобраться в подробностях и смысле таинственного убийства Тебризи – из тоски по ушедшему другу и родилась у Руми его великая «Маснави». Кроме того, журналист, видимо, оказался опасным свидетелем политических игр в верхах. С образами закулисного комплота и тайного общества в роман входит дальняя и ближняя история Турции в ее отношениях с мифологизированным Западом: тема скрытого спасителя-мехди и лжемессии с его лжепророками, мотив готовящегося пришествия антихриста (переключка с «Легендой о Великом инквизиторе»), череда исторических развилок и нового выбора пути в сменяющихся попытках жесткой модернизации сверху и консервативного противостояния им снизу – вплоть до кемалистской революции первой четверти XX века, левого подполья 1940–1950-х и военного путча в начале 1980-х годов. Романный quest приобретает еще более обобщенный, глубокий смысл. Наконец, через биографии героев в «Черную книгу» вплетаются мотивы религиозной ереси и двойничества. Дело в том, что братства-ордена хуруфитов и бекташитов, суфийская философия которых подпитывает сюжетные перипетии романа, развивают шиитскую версию ислама, тогда как подавляющая часть турецкого населения по официальной религиозной принадлежности – сунниты.

Виртуозно оркестрованное повествование, то отвлекаясь в сторону и как бы спохватываясь лишь через несколько глав, то делая ложные ходы и тут же посмеиваясь само над собой, бликуя из второй части в первую и наоборот, эпизод за эпизодом набирает широту и силу. Рассказ о нескольких днях из жизни трех человек, наращивая слои как автобиографического, так и исторического материала, которые к тому же перекликаются друг с другом, становится своего рода хартией ближневосточного жизненного уклада – старой цивилизации, где сочетаются язычество и христианство, правоверный ислам и конкурирующие с ним движения и секты, седая древность и новомодная однодневка; так в находках на дне Босфора из заметки Джеляля соседствуют олимпийские византийские монеты и крышки от газировки «Олимпос». В сторону замечу: видимо, большую романную форму – по крайней мере, в XX веке – не поднять и не удержать, не синтезировав кропотливую реальность частного времени и места с универсальным горизонтом символов и идей, не соединив древность начал и высоту ориентиров. Кстати, не частый, но и не такой уж редкий в завершающемся столетии всеохватный «роман-цивилизация», роман-хартия (прообраз их всех, джойсовский «Улисс», непредставим ни без гомеровской архаики, ни без католической литургии и латинской патристики, ни без дублинского нового Вавилона, но далеко не каждая даже из припозднившихся литератур может подобным жанровым монстром похвалиться) – по-моему, одна из перспективных разновидностей крупной прозаической формы именно в последние десятилетия: для примера назову хотя бы «Хазарский словарь» Милорада Павича и «Лэмприровский словарь» Лоренса Норфолка, «Энциклопедию мертвых» Данило Киша, «Палинура из Мехико» Фернандо дель Пасо и «Дух предков, или Праздничную кутерьму на Иванову ночь» Хулиана Риоса. Причем подобная итоговая «хартия» не только вбирает в себя прошлое, по привычной нам формуле Белинского об энциклопедическом своде исторической и обыденной жизни нации (роман Памука – неисчерпаемая коллекция бытовых вещей, умений и имен, примет своего времени, в том числе –

утерянных, забытых, потонувших или запавших в щель безделушек и мелочей), но и загадывает грядущее. В стереоскопической игре «тайной симметрии» – Гойтисоло говорит о «призматическом видении» Памука – роман постоянно отсылает не только к прошедшему, но и к будущему времени, а в 11 главе первой части, в очередном вставном рассказе одного из полуконспиративных персонажей, разворачивается картина утопического государства завтрашнего дня.

Метафоры тайного сокровища и неотступного – то скрытого, то явного, а то и ложного – двойника, переключки облика и отображения, города и карты, игра снов и зеркал, а в конце концов – жизни и искусства в смене их сходств и различий («Все убийства, как и все книги, повторяют друг друга», – роняет один из персонажей) – сквозные мотивы «Черной книги». Так, одно из навязчивых видений Джеляля – «третий глаз» («...глаз – это человек, которым я хотел бы быть»). Эта образная нить – Гойтисоло вспоминает в связи с Памуком иллюзионистскую архитектуру борхесовских новелл и сервантесовского романа – дает и чисто сюжетные узлы (скажем, представленный легковерным журналистам из Би-би-си макабрный театр исторических манекенов в заключительных главах I части или подпольный публичный дом, где каждая из обитательниц изображает турецкую кинозвезду, соответственно выступавшую некогда в нашумевшем кинохите в роли девицы легкого поведения). Но развиваются эти метафоры и в более общем плане – как своего рода философия романного письма. Здесь Памук повествовательными средствами разыгрывает, доводя до гротеска, некоторые идеи хуруфизма, своего рода исламской каббалистики с ее идеей соответствий между чертами внешнего образа (обликом места, лицом человека), буквами арабского алфавита и божественным строем мира в его пространственном и временном целом. В главе «Тайна букв и потеря тайны» из части II символическая значимость любого предмета, имени, жеста, поступка вырастает перед героем до циклопического наваждения, угрожая ему утратой разума.

Вероятно, самая блистательная находка Памука здесь – замечательно воссозданный им в хронологической многослойности и социальной полифонии образ Стамбула. Гойтисоло верно замечает: подлинный главный герой романа – город. И какой! Город-символ, разорванный, как всякий символ, надвое между Европой и Азией. Палимпсест трех тысячелетий. Столица четырех империй, от Римской до Османской, включая средневековую Латинскую, основанную крестоносцами. Странствия героев по пространству стамбульских кварталов, по векам истории, этапам собственной жизни, часам изменчивого дня – особое и увлекательнейшее измерение «Черной книги». Уверен, ее будущие издания еще снабдят особым атласом и путеводителем, но уже и для сегодняшних читателей памуковский Стамбул вошел в особую литературно-историческую географию наряду с гамсуновской Христианией и Парижем Пруста, Бретона или Кортасара, борхесовским Буэнос-Айресом, беньяминовским или набоковским Берлином и милошевским Вильно, Мадридом Гомеса де ла Серны, Гаваной Лесамы Лимы и Кабреры Инфанте, Александрией Кавафиса и Даррелла. Не случайно одна из финальных, символически нагруженных сцен романа – конкурс на лучшее изображение достопримечательностей и красот Стамбула, иронически рассчитанный опять-таки на глаз иностранца. Картины размещены в зале городского ресторана. Первую премию получает участник, придумавший повесить на противоположной стене гигантское зеркало. И очень скоро зрители замечают, что образы в зеркале живут своей жизнью – сложной, непредсказуемой и грозной...

«Другая Америка» Сьюзен Сонтаг

Дебютная книга эссеистики Сьюзен Сонтаг вышла в Нью-Йорке и Лондоне в 1966 году, уже за первый год выдержала, по моим сведениям, не меньше десяти допечаток, тут же была переведена на итальянский (1967), немецкий (1968) и голландский (1969) языки, а позже – на испанский (1984), китайский (2003) и польский (2012) и, не раз на этих языках потом републикованная, сразу – тем более за многие годы – вызвала на каждом из них шквал откликов. К читающим по-русски этот самый, вероятно, известный и даже нашумевший сборник писательницы приходит почти через полвека (по другому счету – через два поколения), хотя несколько промежуточных публикаций «для интересующихся» все же было²⁶. Так что *первую* книгу большинство читателей прочтет и воспримет сквозь более *поздние*, вышедшие на русском в издательстве «Ад Маргинем Пресс» за последний год – «О фотографии», «Смотрим на чужие страдания», два тома дневников. Это неотвратимо смещает восприятие, но, хотелось бы думать, еще и относительно обогащает его взглядом через анфиладу пространств и времен.

Собственно, все, что Сонтаг хотела сказать, она в своей книге с обычной внятностью и энергией сказала, к тому же дополнив ее в 1996 году послесловием, где с достаточной жесткостью подвела итоги сказанному три десятилетия назад (специально подчеркну там парадоксальные, казалось бы, слова о своей позиции «хранителя культуры» и своем подходе к искусству как «традиционному»). Что осталось за пределами всего этого и что, пожалуй, нелишнее иметь в виду сегодняшнему читателю русского издания?

Над проблемами интерпретации искусства Сонтаг начала думать задолго до непосредственной работы над статьей, давшей заглавие ее книге: по дневникам и записным книжкам условное «начало» можно датировать 1956–1957 годами²⁷. Я бы сопоставил тогдашние записи еще с одной, более ранней: «Искусство... всегда стремится к независимости от... разума»²⁸. В открывающем книгу эссе – достаточно одного только его вызывающего заглавия (и титула книги в 300 страниц!) – Сонтаг дает формулу своего подхода, быстро ставшую крылатой: нужна не герменевтика, а эротика искусства. Это поворот принципиальный и, как видно в теперешней ретроспективе, крайне важный для искусства второй половины XX столетия в целом и, конкретно, для многих из тех фигур, от Андре Жида до Борхеса, которые на протяжении десятилетий привлекали интерес Сонтаг.

Тем самым, если говорить по необходимости более чем коротко, автор «Против интерпретации» на место восприятия как *понимания* поставил восприятие как *воздействие*, на место автора с его *замыслом* – читателя, слушателя, зрителя с его *опытом*, на место «*глубины*» – «*поверхность*», на место *пассивности* или *реактивности* «отражения» и «усвоения» – *волю* к выбору и деятельному самоосуществлению (но и к самоуничтожению²⁹). Приоритет воли – добавлю и попутно напому заглавие второго сборника эссеистики автора, «Образцы безоглядной воли», – значимая для Сонтаг традиция, идущая от Ницше, Шпенглера, а потом Карла Шмитта (о последнем Сонтаг узнала, вероятно, через его ученика и корреспондента Лео Штрауса, чьи лекции слушала шестнадцатилетней в Чикагском университете).

²⁶ Отмечу, кажется, первое по времени: заглавное эссе книги, переведенное Виктором Голышевым и опубликованное в журнале «Иностранная литература» в 1992 г. с предисловием Алексея Зверева (в том же году в «Независимой газете» появилось в моем переводе эссе «Под знаком Сатурна» из одноименного сборника).

²⁷ См.: *Sontag S.* Заново рожденная. М.: Ад Маргинем Пресс, 2013. С. 146–147; в последней записи указываются «Заметки об интерпретации», над которыми идет работа.

²⁸ Там же. С. 23.

²⁹ «Самоуничтожение, исчерпание собственного смысла, самого значения изложенных понятий, – в природе любой духовной программы. (Почему „дух“ и приходится каждый раз изобретать заново.)» (*Sontag S. Styles of Radical Will*, N. Y.: Farrar, Straus and Giroux, 1976. P. 33).

Важна здесь и связь между эротикой и самой потребностью писать, крайне существенная для самой Сонтаг и для авторов, ее в наибольшей степени интересовавших, – подскажу лишь Арто и Батая, Жене и Октавио Паса, Бруно Шульца и Хулио Кортасара (никто, понятно, никому не обещал, что подобная эротика будет только лишь ласковой и нежной).

Речь здесь и об эросе письма, и о почти обязательном для Сонтаг, как не раз признавала она сама, восхищении тем, о чем пишешь (и это – при репутации скандалистки!). Отсюда, возможно, ее отрицательная в ретроспективе оценка двух включенных в книгу «Против интерпретации» театральных обзоров, к тому же заказных, в которых преобладает язвительная критика. Кстати, этот не слишком частый у Сонтаг в эссе и чаще представленный в ее актуальной журналистике (интервью и т. п.) критический, даже сокрушительно-критический тон приоткрывает, по-моему, еще одну особенность ее откликов на те или иные события в современном ей искусстве. Я имею в виду резкое, без околичностей и невзирая на личности отторжение от большинства того, что принято и пользуется успехом в ее «среде», – от «больших» тем и стилей, от социально озабоченных и потому несамостоятельных, эпигонских драм Артура Миллера или Джеймса Болдуина, от нашумевшей постановки не сходящих с первых газетных страниц Питера Брука или Джона Гилгуда, актерского исполнения таких бродвейских «звезд» и фигур «светской» хроники, как Эйлин Херли либо Ричард Бартон. Гораздо больше внимания и понимания у Сонтаг вызывают и всегда вызывали художественная *неудача*, крах – и в каждом отдельном случае, и как принципиальная черта новейшего искусства, творческого поведения художника эпохи модерна³⁰.

Подход к искусству как к не столько *говорящему*, сколько *действующему* объясняет, я думаю, и явное в книге «Против интерпретации» да и во всех других художественно-критических откликах Сонтаг предпочтение, которое она отдает искусствам недискурсивным (живописи, скульптуре, хеппенингу и, конечно, обожаемому с детства искусству искусств – музыке), часто даже совершенно беззвучным (немое кино, фотография, танец), либо как будто бы и вовсе «не-искусствам» (дизайн, садово-парковая архитектура) перед слишком многословной литературой, и особенно ее ключевым для Нового времени, наиболее велеречивым жанром – *романом* (многотомным романом-поток, романом-эпопеей и т. п.). Характерна радикальная, даже, кстати, и по отношению к изобразительному искусству, реплика, брошенная попутно, между делом, почти вскользь: «Если живопись и проза не могут быть не чем иным, кроме как строго избирательной интерпретацией, то фотографию можно охарактеризовать как строго избирательную прозрачность»³¹ (и это опять-таки на первых страницах книги в триста страниц). Отторжение словесного – у такой запойной книгоглотательницы, составительницы бесконечных планов чтения и неистовой покупательницы бесчисленных книг... С другой стороны, читатели, не исключая, обратят внимание и на практически полное отсутствие *поэзии* на горизонте Сонтаг как аналитика и рецензента. Упоминания поэтов у нее крайне редки: в ранних дневниках выделяются разве что Джерард Мэнли Хопкинс, иногда – Т. С. Элиот, позже – Цветаева (но скорее как прозаик) и Бродский (один из ближайших друзей, но опять-таки чаще как эссеист).

И, пожалуй, еще один, последний – чтобы самому не быть уж слишком многоглаголющим и назойливо интерпретирующим – момент, на который хотелось бы предварительно указать читателям; впрочем, мне кажется, они и так обратят на него внимание. За исключением, кажется, двух театральных хроник, о которых уже упоминалось, в книге почти нет *американ-*

³⁰ Характерна в этом плане ее заметка о Симоне Вейль в настоящей книге или эссе о Вальтере Беньямине «Под знаком Сатурна», вошедшее в одноименную книгу 1969 г. Момент поражения и «никудашности» как принципиальную характеристику интеллектуального слоя образованного еврейства или, точнее, одного из его типов выделяет в своей развернутой статье 1968 г. о Беньямине и Ханна Арендт, см.: *Арендт Х. Вальтер Беньямин, 1892–1940 // Она же. Люди в темные времена. М.: МШПИ, 2002.*

³¹ *Сонтаг С. О фотографии. М.: Ад Маргинем Пресс, 2013. С. 16.*

ского искусства и, что еще показательнее, вовсе нет американской *литературы*. Взгляд Сонтаг обращен на Европу и редкие, если не единичные, отражения европейского «духа» в Америке. Резко критическое отношение автора к американской *политике* – и тогда и позднее – известны. Но тут другое: речь о *культуре*.

Если опять-таки обобщать и неизбежно огрублять факты и тенденции, то американская культура, по преимуществу словесная, в особенности роман, привлекла внимание за географическими пределами США и, можно сказать, сделала – в первой половине XX века – серьезнейшую заявку на мировое значение прежде всего воплощенным в ней «духом места», или, если угодно, «национальным духом», понимать ли под ним «Богову делянку» Колдуэлла или «Манхэттен» Дос Пассоса, «Уайнсбург, Огайо» Шервуда Андерсона или фолкнеровскую Йокнапатофу. Так вот, ничего этого в книге Сонтаг (да и в других сборниках ее эссе, вплоть до последнего прижизненного «Куда падает ударение» и вышедшего уже посмертно «А в это время») нет. И дело, конечно, не в достаточно банальном и расхожем «антиамериканизме» «левых» – ни тот ни другой *коллективный* ярлык (почему я и заключил их в кавычки) Сонтаг не подходит. Напротив, такое значимое отсутствие принципиально важно для *индивидуальной*, персональной самоидентификации Сонтаг как человека думающего и пишущего (отошлю к ее словам о себе в эссе «Тридцать лет спустя»: «...таких людей, как я, больше не оказалось»).

Говоря в Берлине в 1988 году о значении для нее «идеи Европы», Сонтаг подчеркнула: «Я нечасто думала о том, что Европа значит для меня как американки. Я думала о том, что она значит для меня как гражданина республики словесности, а это гражданство – интернациональное». Подобное значение Европы Сонтаг определила одним словом – «освобождение» – и детализировала свое прежнее понимание: «Многоликость, серьезность, разборчивость, насыщенность европейской культуры – вот та архимедова точка, опираясь на которую, как думалось, я могу в уме перевернуть мир. Сделать это из Америки я бы не сумела... Поэтому Европа важна, намного важнее для меня, чем Америка»³². Уточняя написанное и пользуясь формулой не чуждого Сонтаг Чеслава Милоша из «Другой Европы» (так во Франции называли одну из его лучших, наиболее автобиографичных книг), я бы сказал, что в сборнике, который читатели сейчас держат в руках, они, может быть, увидят «другую Америку». По крайней мере, я на это надеюсь.

Честь открытия фигуры Сьюзен Сонтаг и ее книги «Против интерпретации» для русского читателя принадлежит, как уже было упомянуто, Алексею Звереву. В 2003-м, как оказалось, последнем для него году, мы обсуждали с ним возможную публикацию сборника «Куда падает ударение», других ее книг, может быть, некоего избранного и думали потрудиться над ними вместе. Посвящаю эту свою работу светлой памяти Алексея Матвеевича.

³² Sontag S. Where the Stress Falls. L.: Vintage, 2003. P. 285–286.

Вена до аншлюса: предисловие к XX веку

В Вене к началу века жили примерно четыреста тысяч человек (причем коренного населения – не больше трети, миграция в город шла бурная); она входила в пятерку крупнейших мегаполисов Европы после Лондона, Парижа и Берлина и перед Петербургом. Миллион не может быть организован так же, как сотня. Это другого типа устройство, со сложнейшими формами связей и отношений.

В Вене конца XIX – начала XX века сошлось несколько мощнейших силовых линий – социальных, культурных, демографических, чисто художественных. В этом смысле она – генеральная репетиция всего столетия. Для многим ей обязанного румынско-французского мыслителя Эмиля Чорана Вена – урок краха: «Радость для европейцев закончилась в Вене». Для опять-таки за многое благодарного ей мыслителя грузинско-русского, Мераба Мамардашвили, Вена – урок свободы, искусства «жить своей жизнью, не чужой, умирать своей смертью, а не чужой». Оба философа, замечу сразу, ставят Вену под знак гибели, в которой – глубокий урок.

Главное – конец в 1918 году империи Габсбургов, давно уже бессильной, пережившей себя как социальное объединение. По крайней мере два десятилетия шло внутреннее окостенение власти, переставшей сколько-нибудь влиять на развитие страны, на ситуацию в обществе, на круги складывающихся элит. Это был политический коллапс, крах бюрократического управления. И авторитет, и реальная действительность императорской власти близки к нулю, император превратился в фигуру чисто номинальную, даже в символическом своем обличье мало что значащую. Традиционная аристократия воспринимала любую извне идущую идею как угрозу и соперничество, полностью распадалась, разлагалась, не была уже способна управлять. Австрийская военщина стала пугалом и посмешищем всей Европы (впрочем, ее хватило, чтобы подтолкнуть страну к балканской аванюре, а потом и Европу к огромной войне).

Точно так, как у нас сейчас, все происходившее было предельно обострено этим распадом империи. Кто чувствует себя брошенным? Те, кто идентифицировал себя с целым, хотя этого и не осознавал, но сейчас переживает крах самоотождествления как осознание отсутствия, «фантомную боль». Здесь и начинаются эти «Америка, которую мы потеряли», «Россия, которую мы потеряли», весь круг потерь, действительно с середины XIX до конца XX века продолжавшихся.

В Вене – как, кстати, и в России – процесс становления национального государства из-под обломков распадающейся империи (примерно к 1980–1990-м годам) припозднился по сравнению с Европой минимум на поколение, если не на два, и я думаю, это придало особую болезненность, надрыв собственно культурным, научным, художественным поискам конца XIX – начала XX века. По идее, линию австрийскую наднациональную, в отличие от немецкой национальной (а 20 % населения империи составляли венгры, 16 % – чехи и словаки, еще по 10 % – сербы и поляки и так далее), должны были воплощать традиционная аристократия и государство, стоящие над любыми частными интересами. Не получалось ни того ни другого.

И отдельный человек, и все общество проходят некоторые стадии в отношении к уходящей системе, которые мы не всегда фиксируем. Есть фаза ощущения естественности порядка, его вечности – а его уже и нет. Стефан Цвейг вспоминал начало XX века в Вене как «золотой век надежности. Все в нашей почти тысячелетней австрийской монархии, казалось, рассчитано на вечность, и государство – высший гарант этого постоянства».

Есть другая фаза, когда начинаешь видеть зазор между этим порядком и какими-то другими возможностями, какие-то трещины в этом порядке; монолит начинает раскалываться изнутри. Но потом все это собирается в один удар – и кажется, что мир рухнул разом, обвально, как это и произошло с Австро-Венгрией в Первую мировую войну. Когда смотришь назад уже после того, как пыль осела, оказывается, все это начиналось поколением раньше, вот здесь, и

здесь, и здесь, но пока не собранное в единый кулак, в единый удар. Что-то менялось на уровне семьи, что-то предвещалось в искусстве, какие-то приглушенные, полужадавленные движения происходили на уровне политического устройства. Потом, позднее, из этого всего начинает выстраиваться картина – и мы опять собираем некую единую историю, в которой уже вполне отчетливы и моменты подготовки распада.

Плавильный котел

Одновременно с распадом империи, его углубляя и усугубляя, в Вене складываются круги различных элит. Разных по происхождению, включая национальное, по роду занятий, по их месту в обществе.

По крайней мере три группы, три даже не культуры, а три цивилизации были представлены в венских элитах, и во многом это сочетание уникально. Один поток – немецкоязычный, немецкий, связанный с Германией, но как бы освобожденный от прусскости, от духа гарнизона, унификации, чисто военной мощи. Гофмансталь, один из наиболее известных немецких литераторов (вместе со всем декадентством подзабытый, но сейчас о нем вспоминают все чаще), говорил: Австрия – это духовная задача Германии. Строительство Германии имеет такой культурный аспект, который как бы вынесен в Австрию. Ну и судьбы австрийской литературы, философии, живописи, музыки показывают, что во многом это действительно было так.

Вторая линия – славянская; она сильно была представлена в культуре, в языке: чешский, польский, украинский, русский и постоянная подпитка из южно- и восточнославянских культур (болгарской, сербской). Это вообще совершенно замечательная вещь – такая узкая полоска от Балтийского моря, уходящая аж до Черного и Средиземного, от Вильно до Триеста. Из Западной Украины, из Румынии, Венгрии, Галиции, Белоруссии, Литвы народ тянулся в Вену. Вена, конечно, была уникальным центром стяжения разных протоэлит, предэлитных выбросов из этой самой полосы лимитрофов, перекрестья языков, укладов и вер, где кто только не жил тогда... Настоящий дух *Mitteleurop'e* был в то время, конечно, в Вене, и центр Восточной Европы, понятно, тоже. И в этом ее громадная заслуга. Она все это заботливо собрала, примерно на два поколения сконцентрировала, сформировала – а потом, с приходом фашизма, все это было разнесено по всей земле, от Канады до Австралии и от Швеции до Патагонии.

Из славянского потока – Кафка прежде всего. Он, конечно, немецкоязычный, но на самом деле двуязычный. Там было странное языковое сознание, такой язык внутри языка – но это фактически у всех австрийцев. Так было у Канетти, который вырос во дворе, где говорили на шести языках, и он всю жизнь свободно говорил на них. Так было у Пауля Целана, который из Черновцов через Бухарест попал в Вену, чтобы в конце концов оказаться в Париже; у Рильке, который, конечно же, был немецкоязычным, но с явными славянскими связями и тяготениями и с ощущением, что он работает не на немецком, а внутри немецкого языка, обустроивает в его полости какую-то свою языковую обитель, пустынь, нору. Посмотрите дневники, переписку Кафки: чешская речь все время присутствует; но еще – система образов, стиль мышления. Вы послушайте венскую музыку – там все время звучат славянские мотивы; в музыке – особенно сильно.

Третий поток – еврейский. Цвейг писал: «...девять десятых того, что мир окрестил венской культурой XIX столетия, была культура, поддерживаемая, питаемая и созданная еврейством». Классическое образование на пяти языках в тринадцати классах школы, высокий престиж культуры и искусства – важнейшие элементы семейной и публичной жизни второго-третьего поколений ассимилировавшихся в Вене евреев, которые добились сравнительного экономического благополучия и придерживались идеалов просвещенного либерализма, верили в неукоснительный прогресс.

Венгерский исследователь позднее заметит, что евреи в Австрии разделяли идеи «австрийскости» с чиновниками и военными (традиционной опорой государства) и «были большими австрийцами, чем сами австрийцы». Это еще и чисто адаптивный феномен: люди, укореняющиеся в первом-втором поколении, большие католики, чем папа. Они столько сил потратили на продвижение, на усваивание этих идей; сколько денег потрачено, сколько времени, чтобы добраться до верха, чтобы вырастить детей, дать им образование, – пришли голодранцы и говорят, что все надо разрушить до основания.

Итак, три главных культурно-цивилизационных потока (а были еще венгерский – Будапешт – и романский – румынский, итальянский). И каждый поток был представлен во всей палитре от национально особенного, включая изоляционизм, и до явной склонности к интеграции, даже ассимиляции. Причем чаще всего все это разноголосие умещалось в одном человеке. В Бубере, например, который в конце концов эмигрировал в Палестину и стал одним из виднейших деятелей сионистского движения, еврейской культуры и нового нарождающегося государства и общества, но при этом не все помнят, что он был блестящим переводчиком древнекитайской и древнеиндийской литературы. Кстати, он же такую локальную, казалось бы, вещь, как хасидская мудрость, хасидские притчи, втянул в универсальный круг идей, символов, запустил в мировую цивилизацию, и духовная культура XX века без этого течения теперь вообще непредставима.

Собственно национализм, включая антисемитизм, провоцировался государственно-бюрократическим духом либо военно-прусским, с оглядкой на Германию. Был еще и бытовой немецкий антисемитизм тех, кто видел перед собой людей более успешных, более, как считалось, пронырливых, захватывающих первые места. Банковско-финансовое дело Вены было на три четверти еврейским, все же это видели и трактовали однозначно: евреи – это не пастухи, не фабричные рабочие, это те, кто работает в банке, посещает салоны, разъезжает в колясках. В более слабой степени то же было и у чехов и у болгар. У поляков национализм был ярче – через сохранившуюся аристократию, через эмиграцию, через мессианизм, порой вполне дикий, а порой и цивилизованный. Все это таившееся, тлевшее исподволь потом поднялось, выплеснулось.

Запоздалый и агрессивный национализм, антисемитство, антиславянство и так далее – таков был еще один элемент распада. Попытка вернуть единство, хотя бы немецкое, и ощущение, что все разваливается. Это-де инонациональные элементы развалили Австро-Венгрию. Все, кто угодно: чехи, поляки, евреи, украинцы – только не мы, не немцы. Такой характерный перенос, разгрузка собственных комплексов, напряжение бессилия.

Идея империи – вобрать национальное единство, но и стереть его при этом. Единая идеология от края до края, по римскому образцу. С единым чужим языком, с единой системой делопроизводства, армией и так далее. Любое национальное движение было в принципе антиимперское, антигосударственное, в том числе попытки отстоять статус узких локальных гнезд. Отсюда, скажем, у замечательного и тоже в галицийских краях выросшего поляка Станислава Винценца, бежавшего потом в Венгрию, а позднее – во Францию, набирала силу идея Европы как единства самых разнообразных мелких частных, принципиально нестираемых в этом едином пространстве («малых родин»). При всех интеграционных движениях к империи или к единой Европе всегда существовали и прямо противоположные: отстоять престиж именно этого места, этого языка, этого диалекта.

И вместе с тем было гордое ощущение принадлежности к чему-то самому большому, самому блестящему – но связывалось оно не столько с империей, сколько с культурой. Это была (напомню Гофмансталя) идея культурного универсализма и сплавления многоязычий. Идея империи была военно-бюрократическая, а ей противостояла идея культуры и отчасти, как писала Ханна Аренд, идея общества как свободной игры сообществ – объединений форм, интересов, сил.

Лаборатория новых культурных форм

Не случайно Вена объединила буквально все проявления гуманитарного сознания и гуманитарного творчества и в каждом дала имена первого ряда, и не одно, не два, не три. Психоанализ, гештальт-психология, фрейдомарксизм, лингвистическая философия – практически все вышли отсюда. Но и в остальном берите что хотите: живопись, музыка, литература, философия...

И начиналось все это в последней четверти XIX-го, шло всю первую треть века XX-го и кончилось с аншлюсом. И происходило во-о-от на таком пятачке. Но как все было организовано! Главным достижением Вены было не возведение границ и барьеров между элитами, а, напротив, постоянное их перемешивание. Для этого надо было выработать особые формы. Их сложился целый набор.

Самые главные для рубежа веков три: венский салон, венские кафе, венский бульвар. Салон как организующее начало соединяет в себе несколько важных черт: обязательно круг идей, обязательно главная фигура одного-двух лидеров, причем это не всегда хозяин или хозяйка салона, и круг людей, которые в принципе составляют, как это потом называли в романе Пруста, «ядрышко». Могут быть приглашенные. Этот круг текуч. Но всегда: круг идей, круг людей и верхушка – один человек, много – двойка-тройка, определяющих, задающих внутреннюю структуру салона.

Ну, салон и бульвар, гулянье – более традиционные установления, их и во Франции найдешь, и в Германии.

А вот венские кафе – это, конечно, особое венское достижение. Наконец, музыкальное собрание, театр, прогулки по Ring Strasse, по бульварному кольцу. И все это включено, вплетено, вставлено в повседневную жизнь, в то, как ведут себя вечер за вечером, в субботу, в воскресенье, как встречаются, как разговаривают, что-то задумывают, обсуждают, осуществляют.

Еще одна важная форма организации уже собственно интеллектуальной, творческой элиты – литературный или политический журнал (групповое самосознание у венцев было ярко выражено, но и импульс к межгрупповой коммуникации очень силен: на рубеже веков в столице выходило более пятисот газет и журналов, одних русскоязычных было пять-шесть!). И тут есть совершенно уникальные венские образцы вроде журнала «Факел», который около тридцати лет издавал один человек. Это был журнал его одного, от начала до конца, от передовой статьи до музыкальных рецензий. И журнал, надо сказать, номер один для всей немецкоязычной культуры того времени: и германской, и швейцарской, и австрийской. Потому что делавший его Карл Краус был с начала века до 1930-х годов фигурой номер один, вольным или невольным, прямым или косвенным прародителем множества культурных инициатив XX века. Он повлиял и на Вальтера Беньямина, и на будущую Франкфуртскую школу, определил их отношение к культуре, к обществу, их понимание человека.

Сегодня лишь по текстам, читая журнал, не обо всем можно догадаться, уже не восстановить тончайшую материю повседневных связей, встреч, договоров, откликов и влияний через третьих лиц... Краус был недюжинным организатором – это замечательная роль, вообще говоря, очень редкая в культуре, и счастье, когда такие люди появляются. Они могут даже и не сказаться в каких-то своих отдельных текстах. Таким был Аполлинер для Франции первой четверти века, Бретон – для последующего тридцатилетия. И таким для немецкоязычного мира был Краус. Кто бы ни вспоминал об этом времени: и Цвейг, и Брехт, и Канетти, и в Австрии, и в Германии – все упираются в Крауса.

«Факел» был журналом современной культурной жизни. Он ее не просто отражал, он ее создавал. Судя по всему, Краус был человек достаточно жесткий, волевой, лидерского, может быть, даже авторитаристского типа, во многом нетерпимый – об этом Канетти тоже пишет;

но его устные выступления, его передовицы в «Факеле», его обзоры культурных событий, его рецензии на все, что угодно: живописную выставку, музыкальный концерт, новую книгу – все, что так или иначе в тогдашнем европейском мире происходило, на любом языке: итальянском, испанском, скандинавских, – все это попадало в центр внимания. Его устные выступления заводили необыкновенно. Появление его в салоне меняло всю атмосферу вечера. За любым его словом в журнале по любому конкретному поводу следили с ужасом не только прямые заинтересованные лица, которых он мог просто растереть или превознести, но и все окружающие. Его карикатуры были бесчисленны и узнаваемы, как у нас сейчас... ну, не знаю... разве что ельцинские...

Это был публичный человек. Вена в тот период в искусстве стала воплощением не просто модерна как стиля, а «модерности» как духа современности в культуре. В такой культуре не может не появиться тип публичного человека. И Краус был одним из наиболее совершенных воплощений такого человека, который задает темп культуре, который производит культурные события – не обязательно собственными текстами, но собственными оценками, своим взглядом, своим присутствием.

Он был одновременно человеком глубоко частным, индивидуальным (поразительно, но он не выражал дух никакой партии, никогда не ассоциировался ни с одним политическим движением) и вместе с тем человеком полностью публичным. Даже частные письма, слова, сказанные кому-то один на один, – все подчинялось задаче построения этой публичности, особой акустики публичного пространства, где нельзя, как у нас Гроссмана, беззвучно придушить в подворотне.

Если бы сколько-нибудь была развита сравнительная социология цивилизаций, цивилизационных изменений и форм, можно было бы увидеть, насколько близки постсимволистские кружки в Вене, в Берлине, в Париже. Сначала независимо друг от друга, а после Первой мировой войны начинается очень мощное общение между ними.

Начиная с рубежа веков, вся эта межкультурная коммуникация ширилась. Журналы в изобилии печатают переводы новой литературы, интеллектуальной эссеистики, философские, экономические, антропологические, социологические статьи (на этом взросло, скажем, «Западное обозрение» Ортеги-и-Гассета в Испании). Больше того, начинает осознаваться, скажем, Вальтером Бенямином, тем же Ортегой, – сама проблема перевода как культурная задача – не просто просветительская, а во всей ее сложности, драматизме, невозможности перевести и невозможности не перевести, невозможности остаться закрытой культурой, но и невозможности раствориться в чужой, трансплантировать что-то оттуда и сделать вид, что оно и у нас растет точно так же, оказывается, другие вещи возникают...

Какие культурные проблемы решались во всех этих кружках, семинарах, журналах, какие идеи рождались и отшлифовывались?

Соединилось три поиска: эзотерическо-художественный, национальный и, наконец, поиск новых предельных оснований в обществе, теряющем традиционные основы миропорядка. Семья, вера, государство – прежде всего эти ценности были поставлены под вопрос. Но если не традиционные основы – то какие? Если не бюрократическо-имперское, наднациональное и надчеловеческое государство – то какое? Что такое национальное и что такое – построить на национальных путях государство, можно ли это, не поздно ли? Для Центральной Европы такие попытки были эпигонскими, но в других краях и обстоятельствах, скажем, в той же Палестине и Израиле, они дали поздний свой результат.

Тут был и широкий веер квази- и арелигиозных движений, включающих, собственно, кошунство в ритуалистике, в символическом. Были эзотерические теософские кружки (тот же Рудольф Штейнер), был и поздний разлагающийся романтизм с черными продуктами распада. Расцветал своеобразный женский миф и культ (вся культура Вены начала века – как любая культура на переломе – была проникнута эросом; Захер-Мазох был ведь тоже из здешних

краев, и Фрейд не просто из своих личных и семейных обстоятельств свои идеи и кошмары почерпнул!). Во всем этом искали некие оргиастические силы, черный ритуал, который дал бы какую-то новую энергетику: ведь всегда процесс большого распада на психологическом уровне сказывается ощущением безмолвия, бессилия – и одновременно осознанием того, что нужен подхлест какой-то. Болезненность истерических подстегиваний и поисков в таких кружках – их, среди прочих, посещал и будущий Гитлер – очевидна. Искали наркотики, чтобы преодолеть собственную дряблость. А дряблость шла от того, что рушилась привычная патерналистская система отношений, которая создавала «естественную» опору существования, естественную, как тогда казалось, определенность. Появляется какое-то бессилие, безволие – ощущение безвременья, заката, конца цивилизации.

Вообще кружок, конечно, очень важная форма для оформления идей, придания им публичного характера, их тиражирования, усиления их авторитетности, первичной их критики. Но в то же время в кружках есть своя замкнутость, ограниченность, безвоздушность. Какие-то вещи тут можно делать как будто безответственно, поскольку они вроде бы не выходят на большую публику. Как бы такой малый ум для себя одного, в котором многое можно помыслить, попробовать, – и это, конечно, дает свободу в производстве новых идей, но приводит и к большой самонаркотизации, самоупоению.

Отрабатывался в кружках и лабораторно чистый национализм. Итальянский, немецкий, наш отечественный – все эти уродливые и очень дорого стоившие людям вещи во многом уходят корнями в тогдашнюю атмосферу конца – начала века.

Но в сумме, в целом Вена сумела, подытожив XIX век, связав самые разные его ниточки: регионализм языковой, литературный, этнографический – и дух универсальности, выработав для этого определенные социальные и культурные формы, создав, наконец, тип публичного человека, – выработав для этого определенные социальные и культурные формы, создав, наконец, тип публичного человека, – смогла в конечном счете дать такой импульс культуре, который во многом определил XX век. Нити разных традиций, разных культур соединялись при этом на символах и ценностях современности, мига, новизны, небывалости. И это порождало целый веер, спектр различных способов существования, образов жизни.

От имперского диктата и идеи всесильного, всемогущего, единого имперского бюрократического государства окончательно высвобождаются как традиционные промежуточные институты (типа семьи), так и новейшие, только что родившиеся, о которых мы говорили: группы по интересам, публичные собрания, кафе, художественный кружок, союз профессионалов. Рождаются новые уровни взаимодействия, самые разные по типу, по объемам, по внутренней структуре, формы собственно общественного строительства и самоопределения. Соответственно, структуры и самого сложного из таких общественных установлений – полноценной, самостоятельно развитой и активной личности, которая сама есть институт институтов.

Вместе с тем это было время и выплеска массовой культуры, массового общества, массового человека. Городу, буржуазному мегаполису, удержать чисто аристократическую – замкнутую, иерархическую, церемониальную – модель культуры просто невозможно. Так возникает венский вальс, так появляется построенный на народном площадном юморе театр от Раймунда и Нестроя в XIX веке до Хорвата и Чокора в веке XX-м: кабаре оттуда пошло! Очень важной оказалась специфически австрийская легкость, игровое начало этого варианта массовой культуры; образ бюргера смягчался, не доходил до идейного противостояния, до карикатур.

Но одновременно там же возникает защитная от победоносного бюргерского духа идея массового искусства как китча: Брех одним из первых порождает этот тип рассуждения, эстетическую критику массовой цивилизации как чего-то антиэстетического, нестильного, безвкусного (ее подхватят «критики культуры» и Элиот в Великобритании, Ортега в Испании, Кроче в Италии). Поразительно, что это отношение сформировалось именно в венской культуре, где китч всегда процветал и бушевал, где шла вековая работа по его эстетизации и были созданы

как раз такие модели и образцы, которые соединяли высокое и низкое, площадное и кружковое, народное и элитарное.

Эти два типа отношения к массовому и массе в искусстве тоже во многом определили будущее, вплоть до знаменитых трудов о массовой культуре 1950–1960-х годов не только в Европе, но уже и в США, после которых заниматься этим стало бессмысленно, поскольку все барьеры рухнули и рвы оказались засыпаны.

Первая мировая: конец и начало

Во многих отношениях – и для Вены тоже – началом XX века стала Первая мировая. В повседневность вторгаются события другой размерности, другого порядка. Меняется весь привычный образ жизни тех, кто остался в тылу; но громадное число людей, причем самых молодых, тех, кто как раз должен был начать вносить новое, новые идеи, символы, образцы, ушло на фронт. И потом их ностальгически фронтовое сознание, опыт смертей и потерь во многом определили содержание 1920–1930-х годов – и культуры, и общественной жизни, и левую, и правую стороны, и красную, и черную, и коричневую, и много какую. Все это было реакцией людей, впервые и поголовно прошедших мировую войну.

Для Вены, ее мальчиков и девочек это был настоящий конец империи, последняя точка. И пошла проверка: чего конец? Если это конец бюрократического государства – то конец ли культуры? Конец ли это европейского разума? Может, это действительно в каком-то смысле закат Европы? Европейской литературы, живописи, чего хотите? Европейского человека, в конце концов? И искусство, интеллектуальные усилия, поиск пошли в эту сторону: понять, что же, собственно говоря, закончилось.

Так началось мучительное рождение, становление автономного Человека – хотя у этого процесса, как и у любого громадного процесса, есть несколько начал. Потом все это собирается и через поколение, максимум – два, сливается в один общий заряд, и тогда процесс идет очень быстро. Это процесс общеевропейский, общезападный, хотя он шел с некоторыми сдвигами по фазе: чуть позже в него войдет Испания, еще чуть позже во весь рост войдет Америка, сначала Северная, потом Южная, но вообще это, конечно, западный процесс окончательного перехода обществ от традиционных форм к современным или, как сказал бы социолог, процесс европейской модернизации.

Конечно, он растянулся по меньшей мере от середины XIX века, от индустриальных революций, образовательных революций, появления сверхгородов, возникновения идеи всеобщего избирательного права, разрушения – пока в идее – барьеров между полами, между народами, языками, сословиями, слоями. Но война этот процесс резко, взрывообразно ускорила.

Будущий узник концлагеря, психоаналитик и практикующий детский психиатр, ученый с мировым именем, а в начале века – ревностный посетитель тех же кружков и салонов, что и идеологи его будущих палачей, Бруно Беттельхайм пишет о трагедии всего своего поколения: «Годы формирования моих сверстников – венских интеллектуалов – прошли под глубочайшим воздействием психологического и социального кризиса Первой мировой войны», совпавшего с «личностным кризисом отрочества и ранней взрослости, который усиливался социальным и экономическим хаосом, последовавшим за войной и нашедшим свою кульминацию в российском большевизме, а затем – в национал-социализме и, наконец, Второй мировой войне». (О подобном резонансе личного и социального, даже цивилизационности кризиса скажет в это же время другой питомец Вены – Эрик Эриксон.)

А этот крах был завершением дезинтеграции социального целого, травма нерождения общества из государства, знакомая всем странам, не нашедшим в себе сил и людей, чтобы ступить из традиционного в современный демократический и плюралистический уклад жизни. Расцветающие при этом раздвоение жизни на «общую» и «частную», «официальную» и

«свою», неискренность, лицемерие, двоемыслие – симптом недоэмансипированности общества из государства, неавтономного существования личности среди многообразных требований со стороны других. Личные связи допускаются в подобной системе лишь на правах «заклада», «залога», обеспеченного – пусть внешней! – лояльностью по отношению к структурам и символам власти.

Взрослеть предстояло и человеку, и обществу. Надежда на Отца со смешанным чувством внешнего гнета и своего бессилия (в точном смысле слова – привязанности: комплекс, собственно, и занимавший Фрейда) должна была смениться расчетом на себя среди равноправных других. А почти автоматическая уверенность отцов в будущем, в разумной природе человека – проблематичностью настоящего и пониманием всей трудности человеческой свободы. Беттельхайм в этой связи говорил о «хрупком равновесии между устремлениями индивида, справедливыми требованиями общества и природой человека». Из такого равновесия и должна была явиться автономия личности: способность к руководству собой и сознательная выработка смысла в конфликте и борьбе разнонаправленных сил как вне, так и внутри человека ради достижения более высокого уровня интегрированности и «я», и общества.

Наконец, сошлись эти разнородные импульсы в особой ситуации – в условиях резкого социального перехода, как бы почти не оставляющего возможности найти собственные ответы и толкающего к стереотипным реакциям, а следовательно – поскольку речь о переломе! – ко вчерашним неэффективным решениям. Уже в 1920-е годы американский социолог Роберт Парт, исследовавший массовую «индустриальную» иммиграцию в США из самых разных стран мира, столкнулся с феноменом человека, выбитого из привычных пазов и настойчиво выталкиваемого на обочину жизни, вне защиты привычных традиций и норм – в психический срыв и анархический бунт, в пьянство и преступность; он назвал этого человека маргинальным. Практически тогда же на другом краю мира, в Испании, Ортега-и-Гассет зафиксировал рождение «никакого» человека, представленного в социальной жизни только своей суммой, «массой» (книга «Восстание масс» выйдет в 1930 году и тут же будет переведена на все крупнейшие европейские языки).

Но здесь проблема, обозначившая себя в Вене, приобретает смысл куда более широкий, может быть – даже вековой.

Записала И. Прусс³³

³³ В дальнейшем эта устная беседа, опубликованная в журнале «Знание – сила» (1997, № 10), была «значительно расширена, в том числе с учетом новой литературы, и коренным образом переработана» (Б. Дубин), став основой статьи «Вена рубежа веков как лаборатория современности», вошедшей в книгу Бориса Дубина «Интеллектуальные группы и символические формы: Очерки социологии современной культуры» (М.: Новое издательство, 2004). *Сост.*

Человек итога и кануна

Книга Шолема³⁴, конечно, одна из главных книг международной беньяминианы. Одна из самых крупных, значительных, привлекающих внимание, переведенных на многие языки. Это объясняется несколькими обстоятельствами. Для начала, я бы сказал, двумя³⁵.

Во-первых, здесь есть сюжет дружбы, причем дружбы далеко не пасторальной, не идиллической, а полной внутреннего спора, полной непонимания с обеих сторон, тем более что книга пишется *a posteriori*, когда уже все произошло и уже все известно – и судьба той Германии, в которой формировались Шолем с Беньямином, и судьба того слоя и той [его] «фракции», к которой они принадлежали. Уже все известно. И в определенной мере, я думаю, Шолем <...> кое-что *a posteriori*, конечно, переоценивает и переакцентирует в том, что реально между ними было и что было вокруг них, в чем они существовали.

Вообще говоря, этот сюжет дружбы или (как называлась история про Александра Блока и Андрея Белого) «история дружбы-вражды» (здесь, конечно, вражды нет, но внутренние напряженные отношения есть) – это был бы сюжет отдельный, о нем стоило бы говорить специально, потому что сам этот феномен дружбы двух выдающихся интеллектуалов, тем более в такой странной, переломной ситуации, в которой они жили, и в той странной междумирной среде, в которой они себя находили <...> ему одному можно было бы посвятить коллоквиум. <...>

Второй важнейший сюжет – это, собственно, генезис мысли и основных тем мысли Вальтера Беньямина. Как он предстает из этой книги.

Книга в этом смысле... Это, вообще говоря, не биография. Не разговоры Гёте с Эккерманом. Не «Жизнь Сэмюэла Джонсона» босуэлловская и не «Жизнь Гёльдерлина» Вайблингера, если называть самых знаменитых предшественников. Это некоторый, я бы сказал, *протокол дружбы*. И вот эта протокольность повествования явно имеет особое значение в этой книге.

Что же касается генезиса основных тем мысли Беньямина – мне кажется (и Шолем на этом сосредоточивается, много раз возвращается к этой теме), здесь очень важно понимать напряжение между тремя линиями [беньяминовского] самоопределения:

линией буржуазного положения, куда входят и попытки сделать академическую карьеру (назовем это немецкой буржуазной линией);

линией еврейской мистики и метафизики – со всеми напряжениями Беньямина по отношению к еврейству, еврейской традиции и так далее;

линией революции, линией левой мысли, линией политики, как это называет Шолем.

Он описывает Беньямина как такого двуликого Януса, который разрывается между политикой и религией или политикой и философией, причем мистической философией.

Я бы настаивал на том, что дело здесь не просто в индивидуальности и характере Вальтера Беньямина. Конечно, это его глубоко внутренние, экзистенциальные, очень важные проблемы, которые его формировали как человека, как мыслителя, как исторического деятеля и так далее. Но контекст и значимость напряжений между этими линиями гораздо шире. Мы понимаем, что в конечном счете Германия, а вместе с ней и вся Европа, а может быть, даже и весь мир жил в этот период – несколько десятилетий – в напряжении между этими основными линиями. Так сложилось взаимодействие политики и мифологии в нацистской Германии, что только-только успел Шолем захватить, до того как уехал в Палестину. Так складывались отношения

³⁴ Scholem G. Walter Benjamin – die Geschichte einer Freundschaft. Suhrkamp, Frankfurt am Main, 1975 («Вальтер Беньямин – история одной дружбы»). В русском переводе книга вышла в 2014 г. в издательстве «Grundrisse». *Сост.*

³⁵ Расшифровка выступления Б. Дубина в Еврейском музее и центре толерантности 13 апреля 2014 г. Состоявшийся тогда круглый стол «Шолем / Беньямин: общение умов и движение эпох» был организован Культурно-образовательным проектом «Эшколот» совместно с Центром авангарда Еврейского музея и издательством «Grundrisse». *Сост.*

политики и искусства, политики и эстетики в беньяминовской мысли. Так складывалась очень важная для него тема взаимодействия техники и массовой политики, техники и современного искусства. <...>

Получается, что эти линии напряжения и то поле, которое они создают, фактически дали начало основным темам мысли Бенямина: тематика насилия, тематика деструктивного характера, вообще очень важная в истории философской, социологической, общественной мысли, не очень сильно подхваченная впоследствии и отчасти переакцентированная и очень огрубленная Адорно в его «Авторитарной личности». Мысль Бенямина гораздо тоньше и сложнее. Мне бы хотелось подчеркнуть внутреннюю противоречивость этой мысли, сам модус существования такого типа мыслителя, как Вальтер Бенямин. Мыслителя, не принадлежавшего ни к кому, ни к чему – по рождению, по склонности и так далее.

Бенямин цитирует где-то Сент-Бёва, французского критика и публициста XIX века, очень в свое время известного и авторитетного. Сент-Бёв говорил про себя: «Ни одна из партий не может назвать меня своим». Бенямин был таким человеком. Имеются в виду партии не только политические, а любые: интеллектуальные, социальные, какие хотите. Оцените модус существования в таком поле напряжения и в таком контексте, как 10-е, 20-е, 30-е годы в центре Европы, а именно в Германии, а потом в Париже.

В этом смысле... Два слова о книжке Арндт³⁶: она, вообще говоря, построена на трех темах Бенямина. Они отчасти совпадают с теми тремя линиями, о которых я говорил, но по-своему, по-арндтовски эти [линии] поворачивают.

Фактически Арндт воссоздает портрет Бенямина как, во-первых, человека, потерпевшего жизненный крах, неудачу, полное поражение. Это очень важный мотив. Если вы будете читать, если еще не читали, книгу Шолема, то вы убедитесь, что Шолем, со своей стороны, очень хочет слиться с Бенямином. А Бенямин, кажется, не очень. И не только потому, что он не хочет, а потому, что он в принципе не может. Он так создан, *он не может сливаться с местностью*. Это другой тип мыслителя и другой тип исторического деятеля. И, в каком-то смысле, он не может слиться ни с Асей Лацис, ни с Брехтом, как ни важны они для него и сколько мучительных чувств он ни испытывает по отношению к Асе и по отношению к Брехту. И это вечная судьба, из которой невозможно выпрыгнуть.

В этом смысле идеи о самоубийстве с самого начала 1930-х годов преследуют Бенямина. И это далеко не просто случайный акт: вот от отчаяния взял и покончил с собой. Он десять лет, по крайней мере, открыто живет с этой идеей и с этим чувством, что надо покончить с собой, это единственная возможность существовать и как-то себя вести в этом мире.

Вторая линия, о которой пишет Арндт, – это судьба «парии», отверженца, против (contra) судьбы «парвеню», который приспособливается. Тема чрезвычайно важная, и о ней можно было бы отдельно, особенно в наших нынешних российских условиях, провести коллоквиум, и я думаю, что он был бы чрезвычайно горячим. Для Бенямина это тоже чрезвычайно важная вещь, и она чрезвычайно важна для Арндт, причем на разных этапах ее мысли и ее жизни как мыслителя. Для нее в этом смысле модельной фигурой является Гейне, такой первый еврейский нееврей, европейский неевропеец, человек, который не приживается нигде, где бы он ни жил. И это не случайные обстоятельства, которые вокруг него сложились, это его собственная воля, это его осуществление собственного предназначения, как он его понимает.

И третий момент, чрезвычайно важный и для книги Шолема, и для самого Шолема, и для Бенямина как мыслителя, третий момент, о котором пишет Ханна Арндт, – это как существовать при разрыве традиций, в условиях, когда что-то, что было сакральным, перестало им быть, и только ты сейчас здесь добровольно можешь признать значимость этого, но никакие

³⁶ Арндт Х. Вальтер Бенямин. 1892–1940. М.: Grundrisse, 2014. Сост.

небеса и никто на свете, ничто на свете не может тебя убедить в том, что то, что ты считаешь значимым – значимо. Это только твой акт здесь и сейчас. И опять-таки – оцените модус такого существования в Германии, а потом во Франции 20–30-х годов прошлого века.

В этом смысле совершенно не случайна (понятно из всего сказанного, а тем более [будет] понятно, когда вы прочитаете и книгу Шолема, и книгу Арендт) чрезвычайная (может быть, кто-то даже назовет ее болезненной) чувствительность Бенямина к разломам и разрывам. Он вот как собака – *предчувствует грозу*. Он чувствовал это какими-то... Ну, помимо того, что он чувствовал это как мыслитель, он чувствовал это просто как существо человеческое.

Это очень важная почва, из которой произрастают основные темы и нервы его творчества, но это еще и чрезвычайно важно потому, что объясняет генезис, собственно, эстетических пристрастий Бенямина – пристрастий к фрагменту, пристрастий к цитате, пристрастий к осколку, к обрывку, [объясняет его] принципиальные недоговаривания до конца. Фрагмент ведь потрясающая форма: он, в этом смысле, абсолютно окончателен и совершенно не закончен. Вот это и есть модус существования мысли Бенямина. И это очень важная вещь, которая не передается как содержание. Он никогда не формулировал это как содержание, свой завет кому-то другому мыслящему. Но из совокупности того, что он делал и что писал, рождается понимание такого модуса существования, и мы можем к этому отнестись уже как к определенному моменту традиции – если признаем это значимой для нас традицией.

В любом случае – я призываю вас читать две эти книги. Читать Вальтера Бенямина. Его судьба в России – нельзя сказать, что только начинается, она все-таки уже почти двадцать лет развивается [здесь]. Но тем не менее в сравнении, скажем, с Европой и Соединенными Штатами, где все-таки уже, начиная с середины 1950-х годов, идет очень серьезная работа по систематизации продумывания беняминовского наследия (сначала Адорно в Германии, потом Арендт в Америке), российский Бенямин еще молод. Видимо, предстоит еще открывать Бенямина и что-то делать для того, чтобы, я надеюсь, Бенямин развивался внутри российской мысли, внутри российского контекста, внутри российской даже и словесности³⁷, потому что он имеет прямое отношение к той... Арендт это называла «мастер поэтической мысли». Поэтому для литературы, в частности, и, как ни странно, для поэзии современной фигура Бенямина и [его] мысли имеют чрезвычайно существенное значение. Спасибо. Всё.

³⁷ Пока что не настало в России и время глубокого чтения Ханны Арендт, говорил в 2009 г. Борис Дубин: «Я очень надеюсь, что [это время] все-таки не так далеко. Потому что проблемы, которые задевали [Арендт] – Холокост как крупнейшая гуманитарная катастрофа, необходимость активной политической жизни при отстаивании своей независимости от любых узкопартийных интересов, форм недобровольной солидарности, – все это, несомненно, важнейшие сюжеты XX и начавшегося XXI века» (<https://www.svoboda.org/a/1603789.html>). *Сост.*

В ситуации молчания Бога

...Симона Вейль – это редчайший, видимо, случай соединения мысли и жизни. А все-таки для XX века такой сплав, такое слияние – вещь достаточно редкая³⁸. Все-таки слишком расходятся разные пути каждого отдельного человека. И похоже, что Симона Вейль этого или не понимала, или это было не ее. <...>

XX век был веком силы, насилия, и Симона Вейль это отлично чувствовала. И собственно, может быть, самый известный в России ее текст, с которого и начиналось знакомство русскоязычного читателя с ее наследием, «Илиада, или Поэма силы», собственно, об этом – о разделении людей и о неминуемо связанном с разделением насилии одного над другим или, по крайней мере, попытке силой стать главным. И то, что Вейль взяла эту проблематику как свою главную, и то, каким образом это было связано с ее опытом... Ну, давайте просто прикинем. Две мировые войны, Испания, потом пойдут колониальные войны и все прочее. Что такое XX век? Просто кровь льется рекой, убивают миллионами. И всему этому, я думаю, даже, может быть, специально не беря это в сознание, Симона Вейль, конечно, противостояла или пыталась противостоять усилием, напряжением своей мысли. <...>

Притом что она, как выражаются сегодня, «практиковала», то есть последовательно придерживалась или последовательно пыталась всячески отказаться от себя, умалить себя, в этом смысле как бы стать абсолютно прозрачной для того, что бесконечно важнее было для нее, чем она сама, тем не менее ее мысль, ее жизнь, ее способ писать и мыслить чрезвычайно индивидуальны. И опять-таки для XX века – века массового, века во многом нивелирующего индивидуальность – это большая редкость и большой... как Чеслав Милош говорил, это большой подарок человечеству. <...>

...Хочешь не хочешь, каждый из нас³⁹, конечно, работает на культ Симоны Вейль, то отрицая его, то утверждая. Надо было бы отчасти все-таки напомнить, во-первых, контекст, в котором она писала, во-вторых, форму, которую принимало ее письмо. Ведь ничего же не было опубликовано. В конечном счете это все были записи для себя или для самых близких людей. И в-третьих, что, может быть, еще важнее... важен ведь не контекст творчества, а контекст востребованности: почему и когда она оказалась востребованной. А ситуация была послевоенная, когда во Франции те, кто победил и остался жив, на ножах выясняли отношения с теми, которые сотрудничали, были коллаборационисты, недостаточно активно участвовали, оказались в стороне, неправильно мыслят и прочее, и прочее. И в этой ситуации буквально единицы – Камю, Марсель – пальцев одной руки хватит перечислить, они почувствовали, что вот в этом мире, где по-прежнему на ножах сводят счеты друг с другом, не выйти из ситуации, если не выйти во что-то другое. Тогда и записи Симоны, не предназначенные для печатания, необработанные, не приведенные в порядок, в последовательность, стали важны и возможны. <...>

Сьюзен Сонтаг в свое время, чрезвычайно стилизуя в этом смысле Симону Вейль, активно нажимала на одну, в частности, сторону ее деятельности – на тягу к противоречию. И это очень попадало в дискурс радикалов конца 1950-х и конца 1960-х годов. Но при этом, при том что Сьюзен Сонтаг явно перетягивала Симону в свою сторону, некоторая начальная точка,

³⁸ Высказывания Бориса Дубина в программе Елены Фанайловой «Свобода в клубе „Квартира 44“» (январь 2009). Печатный текст опубликован Е. Фанайловой 31 января 2009 г. на сайте Радио Свобода под заголовком «Как Симона Вейль влияет на современный мир» (<https://www.svoboda.org/a/482620.html>). Републикуется здесь с небольшими сокращениями, в заглавии текста вынесены слова Б. Дубина. *Сост.*

³⁹ Вместе с Б. Дубиным в дискуссии участвовали Анна Шмаина-Великанова, Наталья Ликвинцева, Олег Аронсон, Яков Кротов. В записи звучали мнения Галины Наумовой, Флоранс де Люси, Татьяны Вайзер, Франсуа Федые. *Сост.*

мне кажется, была на самом деле, и ее Сонтаг не придумала. Симона Вейль сама говорила, что противоречие – это и есть способ, через который запредельное входит в нашу жизнь, и в этом смысле обойти его невозможно. Но в чем было противоречие, кроме вот этого смысла, что еще было, мне кажется, важного в противоречии? Ведь вера Симоны, она неутешительна, совсем наоборот. Я бы сказал, что она где-то на грани отчаяния. Потому что Тот, как она писала (не очень точно цитирую, но близко), любить Которого есть долг каждого из нас, отсутствует, Он всегда удален от нас, и никогда это расстояние не может быть слишком большим. В этом смысле это не теплое, как бы домашнее отношение к Богу, который должен утешить, спасти, на грудь которого можно положить голову и так далее. Это некое существо или некоторое образование смысловое (сейчас не буду в это углубляться), до которого нам никогда не дойти. В этом смысле мы не можем утешиться с помощью этого, и другого мы никогда не можем утешить с помощью той веры и того Бога, которого желаем.

И второе. Желание обладания. Симона Вейль говорила и не раз возвращалась к этой мысли, что желание желать – вот искра божественного в человеке. Не обладать верой, не обладать Богом, а желание желать Его и невозможность без этого существовать. При этом никогда не обретая так, чтобы это можно было, как принято говорить, использовать или для себя, или для других. В этом, конечно, был очень сильный смысл, о котором часто говорили те, кто писал о Симоне, что это как бы вера катаров, вера еретиков и вера, которая заранее отсекает возможность прийти к Богу и сделать Бога силой в мире, в этом смысле дать возможность что-то изменить в окружающей ситуации. Но абсолютизм Симоны, который был и в ее жизни, и в ее манере письма, и в ее вере, он заставлял ее в этом смысле очень сильно нажимать, напрягать это отсутствие, это почти отчаяние от невозможности достичь и в то же время невозможности не идти, не тянуться в этом направлении. «Бог есть, поскольку я его желаю, – писала она, – но мое желание никогда не может сделать Его ближе». И вот эта Его удаленность или даже, как она впрямую писала, Его отсутствие и есть высший знак чистоты любви: наша любовь безнадежна. <...>

...Какую-то новую антропологию <...> она нащупывает. И это, конечно, антропология слабого. Но какого слабого? В ней самой и в ее поиске, Симоны, соединяется как бы бесконечное самоуменьшение в самых разных формах – и умаление себя физическое, и умаление себя в мысли, и умаление себя по отношению к церкви, и так далее, – с другой, казалось бы, несоединимой с этим чертой – бесконечным вниманием к тому, что с ней происходит, и пониманием какой-то ни с чем не сравнимой значимости того, что с ней происходит сейчас. Вот это соединение поглощенности с как бы отсутствием, с удалением от себя для этики, ну, я уж не говорю романтической, но даже и для большинства этических систем и XX века – вещь абсолютно непостижимая, казалось бы.

Куда же девается тогда субъект? А он девается, потому что он другой. Он теперь другой, он теперь вот такой. Нельзя сказать, что этого совсем не было раньше, но это было на каких-то третьих, десятых, сто двадцать пятых планах. А Симона, как всегда, все, что она делает, – она выдвигает резко вперед эту мысль и делает ее почти что непереносимой. Но это ощущение непереносимости говорит о важности того, что она здесь говорит. Она цепляет нас и не дает мысли остыть и ослабеть, она все время держит нас, цепляет нас за это.

Это чрезвычайно важная вещь – вот это ощущение неуспокоенности и беспокойства, которое всегда остается при мысли о ней, при чтении ее и так далее. В этом смысле она, конечно, незаконный человек, <...> потому что <...> выходит из традиции. Закон Ветхого Завета – это традиционный закон. Могут быть и другие, вообще-то говоря, законы, но вот закон ветхозаветный таков. И тогда она скорее, как Чоран о ней сказал, современная Антигона. Сегодняшняя Антигона, которая знает, что не найдет правды, знает, что не найдет покоя, знает, что не сумеет сделать то, что она сделать должна, но не может этого не делать. И в этом

смысле совершенно одинока и ищет, и предчувствует смысл в этой безутешности. И это вторая очень важная сторона вот этой новой антропологии – антропологии, если угодно, после Аушвица, в ситуации молчания Бога. Это вещь, которую надо услышать и нельзя оставить в стороне. Это чрезвычайно важно.

Альбер Камю «„Укоренение“ Симоны Вейль»⁴⁰ Набросок предисловия к книге⁴¹

В странах Запада (как, впрочем, и кое-где на Востоке – в Иране, в Японии) Альбера Камю читали на «своих» языках более или менее одновременно с выходом его книг по-французски. К читающим же в СССР на русском языке том издательства «Прогресс», включавший роман, повести и несколько рассказов, Камю пришел только в 1969 году, спустя почти десятилетие после смерти автора (по-украински драма «Праведники» была опубликована годом раньше). К тому времени в Париже увесистый двухтомник собрания его сочинений вышел в авторитетнейшей «Библиотеке Плектры» (1962–1965), что означало безоговорочное включение в пантеон классиков. Приближением Камю к русскоязычной публике активно занимался в те годы Самарий Великовский, посвятивший его драмам, художественной и эссеистической прозе не одну статью. О творческих связях Камю с Достоевским писал в ту пору Виктор Ерофеев. Тем не менее эпохальных трактатов Камю «широкому» читателю пришлось ждать у нас в стране еще двадцать лет, они были опубликованы лишь с наступлением «гласности».

Сегодняшним посетителям российских книжных магазинов, где на общедоступных полках выстроились многотомники писателя и десятки отдельных изданий его книг, трудно объяснить, почему как минимум два читательских поколения в «самой читающей стране мира» были этого богатства лишены. Такой «прочерк» не проходит бесследно для культуры, и дело не в запоздалом признании крупного зарубежного писателя (и скольких, скольких его замечательных предшественников и современников еще!), а в зауженных горизонтах и обобранной судьбе самих этих поколений. Камю здесь, пожалуй, – из наиболее тяжелых потерь. Так его мировоззренческий универсализм, моральная определенность и гуманистический поиск оказались, как мне представляется, не оценены по достоинству и не вошли в свое время в кругозор влиятельных «шестидесятников», а это, по-моему, существенно обеднило их понимание личности, этический посыл творчества, поэтику тогдашней прозы. И вряд ли случайно, что широко издававшийся в 1990-е годы и активно републикуемый сегодня у нас в стране Камю тем не менее явно находится вне круга живой интеллектуальной работы, критического продумывания ходов его мысли, сегодняшней умственной заинтересованности. Титул классика, особенно – зарубежного, как часто случается, заслоняет реальные пути к нему.

Я вместе с однокашниками начал читать Камю на его родном языке студентом филфака МГУ в середине 1960-х годов, буквально за копейки – по наводке наших молодых преподавателей – приобретя галлимаровские карманные томики его прозы и пьес в райском, ныне не существующем магазинчике французской книги на улице Веснина в Москве (теперь это Денежный переулок). Начальные фразы «Постороннего», многие реплики Калигулы из одноименной драмы или доктора Риё из «Чумы» я и сейчас помню наизусть. Получивший классическое образование немецкий философ Ханс Георг Гадамер как-то вспоминал, что гимназическая латынь учила его со товарищи представлению о человеке – человеке как таковом. Вероятно, что-то в этом роде происходило у нас тогда с Камю. Те чувства позднее осели в памяти сознанием как бы некоего долга перед нашим далеким наставником. Я рад возможности хоть в самой скромной мере воздать сейчас этот долг – по французской формуле «donnant donnant».

⁴⁰ Перевод с французского и вступление Бориса Дубина.

⁴¹ Weil S. L'Enracinement. Prélude à une déclaration des devoirs envers l'être humain (due à Albert Camus). Paris: Gallimard, 1949.

Нынешняя публикация «ИЛ» напоминает о столетнем юбилее выдающегося французского писателя и предваряет дальнейшее обращение журнала к его наследию – путевым запискам, письмам и др.

Борис Дубин

* * *

Если Симона Вейль против чего и настраивала, так только против жестокости или низости, большой разницы между которыми, впрочем, нет. Если она что и презирала, то лишь само презрение. Читая ее, понимаешь: единственное, к чему был не способен ее поразительный ум, – это легкомыслие. В 1940 году ее попросили подготовить отчет о настроениях во Франции – она написала книгу, публикуемую сегодня под титулом «Укоренение», подлинный трактат о нашей цивилизации. Таков был склад ее характера – всегда и как бы само собой братья за главное.

В «Укоренение» вошли многие ключевые мысли, без которых не понять Симону Вейль. Но эта книга – по-моему, одна из самых важных среди вышедших после войны книг – еще и проливает яркий свет на то забытие, в котором тонет послевоенная Европа. Вероятно, был нужен разгром, последовавший за ним маразм и молчаливое раздумье, которому в те сумрачные годы предались все, чтобы до такой степени несвоевременные мысли, суждения, опрокидывающие столько общих мест и не желающие знать о стольких предрассудках, смогли зазвучать среди нас в полную силу.

Официальная история, пишет Симона Вейль, всегда состоит в том, что убийцам верят на слово. И добавляет: «Кто мог восхищаться Александром Македонским, кроме низких душ?» Во времена силы и в век эффективности такие истины звучат вызовом. Но это мирный вызов: за ним – убежденность любви. Попытаемся хотя бы представить себе одиночество подобного ума в межвоенной Франции. Ничего удивительного в том, что Симона Вейль искала укрытия на заводах, хотела разделить судьбу самых обездоленных. Когда общество неотвратимо скатывается ко лжи, единственное утешение чистосердечных – отказ от любых привилегий. Читатель «Укоренения» увидит, до какой глубины доходит у Симоны Вейль этот отказ. Но она гордо несла [нрзб.] безумие истины. И если это привилегия, то из тех, за которые платят всей жизнью и утешения в которых нет. Это безумие помогло Симоне Вейль распознать за самыми расхожими предрассудками болезнь эпохи и найти средства ее исцеления.

Я не могу представить себе возрождение Европы без отклика на запросы, сформулированные Симоней Вейль в «Укоренении». В этом – значимость ее книги. И если говорить о ее посвященном справедливости труде всю правду, то некая тайная справедливость рано или поздно поставит эту книгу в первый ряд, от чего ее автор упорно всю жизнь отказывался. «Завоевание – суррогат величия», – писала она. И никогда ничего не собиралась завоевывать. Но в миг отказа величие и становится очевидным: так его, подлинного, и достигают, о чем у Симоны Вейль сказано столько глубоких слов. Величие силой чести, величие без отчаяния – вот в чем достоинство этого автора. И в том же опять-таки его одиночество. Но на этот раз – одиночество предтеч, исполненное надежды.

О беге времени на его краю

В творчестве – невыносимый кунктатор, в редком общении с другими – ревнивый, невротический говорун, в повседневном одиночестве – вечный голодарь и книгожор, каких мало, Эмиль Мишель Чоран (1911–1995) зачитывался в основном историками и мистиками. Странно, но и в мистике и в истории он искал одно – свободу от времени, от своего времени, от времени как такового. Переживанием временности этот «наполовину гностик, наполовину буддист» (как он себя аттестовал) глубже всего и мучился каждый день, причем еще с детской поры, когда реальность однажды вдруг улетучилась у него, пятилетнего, прямо на глазах. Так что проклятое сознание времени он всю жизнь приравнял к грехопадению (одна из его книг так и называлась «Грехопадение времени»), а метания собственной мысли помещал «между Утопией и Апокалипсисом».

Детство помянуто здесь не случайно. Первые годы почти растительного существования в восточноевропейском захолустье, в глухой трансильванской деревушке Реши-нари и безлюдных горах вокруг, навсегда остались для Чорана воплощенным раем («Я одной ногой в раю, как другие – в гробу», – признавался он в 1950-е годы в «Записных книжках»). И кстати, там осталась не просто его блаженная и неповторимая, как у каждого, начальная пора – там осталась целая страна, лоскутная Австро-Венгрия, доживающая и уже пораженная гибелью империя, многонациональная и многоязыкая Атлантида, которая, точно так же на глазах, через несколько лет исчезла (с карт, но не из умов). Мало того: именно провинциала Чорана, человека окраины и крайности, уроженка Нового Света Сьюзен Сонтаг, и совершенно справедливо, называет «одним из последних печальников по всей уходящей Европе – европейскому страданию, европейской интеллектуальной отваге, европейской энергии, европейской усложненности». Граница, ставшая средоточием, обрыв как центр мира – такова метафора и проблема всей чорановской судьбы («случай-предел» называл такие судьбы Морис Бланшо).

Отсюда, из этого отправного жизненного пункта, главного мысленного узла, – всегдашнее и изматывающее стремление Чорана «быть несовременным, как камень». Но отсюда же его самозабвенная любовь к биографиям («Как у всякого, кто не „живет“», – самокритично замечал он). Такими неразрешимыми противоречиями подрывалось изнутри и его понимание Истории; вот еще несколько строк из тех же «Записных книжек» (теперь за 1968 год): «Прочел об одном поэте прошлого века такие слова: Возмущенный уродством истории, но обезоруженный интересом к ее механике... В точности мой случай». Однако таков же и сам его невозможный, бешено-бесстрастный, саморазрушительный способ думать и писать. В литературе Чоран, начинавший в 1930-е с позднесимволистской лирической экзальтации (когда переводил на румынский стихи Малларме, – кстати, поразительная близость к человеку другой окраины, тогдашнему провинциальному учителю Хулио Кортасару), в зрелые годы превыше всего ставил «сухую, как скелет, прозу, сведенную судорогой», – в «стилистах» он числится явно по недоразумению. Американский писатель Уильям Гасс сравнивал каждую чорановскую фразу с философскими парадоксами-головоломками Зенона Элейского, в основе которых, напомним, невозможность движения, существования, мысли. А вот как характеризует парализующую силу чорановского письма Сонтаг: «Афористический стиль для Чорана – принцип не столько реальности, сколько познания: любая хоть чего-нибудь стоящая мысль обречена тут же потерпеть поражение от другой, которую сама втайне породила... Обычное чорановское эссе можно описать в нескольких словах: это свод тем для размышления одновременно с подрывом любой приверженности к изложенным мыслям, не говоря уж о „действии“ на их основе. Вырабатывая сложнейшие интеллектуальные формулировки для одного интеллектуального тупика за другим, Чоран создает замкнутый мир – мир трудного, главный предмет своей лирики».

«Трудность» здесь – как всегда, в настоящей лирике и в лирической мысли XIX–XX веков, мысли Новалиса, Кьеркегора, Ницше, Рильке, Кафки и других предшественников Чорана – это градус неотступности тех вопросов, над разрешением которых гипнотически, безысходно бьется неутолимый разум. Автор в подобных случаях не пишет о сложности, он пишет саму сложность, и пишет при этом сложностью. «Огнем по огню», – сказали бы любимые чорановские мистики-каббалисты.

Три интеллектуала в борьбе со своим временем

Книга французского историка, журналиста, переводчика Александры Ленъель-Лавастин⁴² – обширное, обстоятельное и первопроходческое исследование, поэтому я не буду опережать российскую публику преждевременной публикацией его результатов. Пусть мои соотечественники сами оценят широту, новизну и содержательность привлекаемого автором исторического материала, обоснованность и последовательность выводов, многоплановую конструкцию целого. Скажу лишь, что книгу, которая сейчас у читателя перед глазами, сразу вслед за ее выходом в 2002 году отрецензировали все ведущие французские издания, обращенные к широкой публике. Кроме того, она стала предметом заинтересованного профессионального разбора, а по ряду моментов и критики, в большинстве изданий специальных – по истории, социологии, политическим наукам, гуманитарным дисциплинам. С тех пор, пожалуй, мало какая серьезная западная работа о соблазне нацизма для европейских интеллектуалов XX века обходится без обращения к фактам и соображениям настоящей книги.

Хорхе Семпрун причислил ее автора к «замечательным аналитикам культурных традиций „другой Европы“». Специальность Александры Ленъель-Лавастин – восточ-но-европейская интеллектуальная история XX столетия. Ленъель-Лавастин родилась в 1966 году, закончила Сорбонну, защитила там в 1996-м диссертацию, легшую в основу ее первой, написанной на румынском материале монографии «Национализм и философия: Парадокс Константина Нойки⁴³». Но еще раньше того, во второй половине 1980-х, она начала активно публиковаться в журнале «Новая альтернатива», который возглавил тогда видный чешский правозащитник, эмигрант Карел Бартошек. После 1989 года Ленъель-Лавастин подолгу работала как репортер в Праге и Бухаресте. Сегодня она преподает во Франции и Америке, постоянно сотрудничает с литературным приложением к газете «Монд» и радиопередачей «Новая Европа», готовит к французскому изданию трехтомную «Черную книгу» документов о преследованиях евреев в Румынии в 1940–1944 годах. Кроме уже упомянутых трудов, она переводчик на французский нескольких книг румынского философа Габриэля Лийчану, включая его биографическую работу о Чоране, автор монографий «Ян Паточка. Дух диссидентства» (1998) и «Европейские умы. О Чеславе Милоше, Яне Паточке, Иштване Бибо» (2005). Эта последняя⁴⁴, на страницах которой, кроме заглавных героев, сталкиваются идеи и скрещиваются судьбы Макса Вебера и Эдмунда Гуссерля, Артура Кестлера и Ханны Арендт, Германа Броха и Роберта Музиля, Шандора Марай и Имре Кертеса, Милана Кундеры и Зигмунта Баумана, отмечена Европейской премией за эссеистику, которую присуждает швейцарский Фонд Шарля Вейонна (за последние тридцать лет этой авторитетнейшей премии, среди прочих, удостоивались Лешек Колаковский и Александр Зиновьев, Жан Старобинский и Эдгар Морен, Тимоти Гартон Эш и Дубравка Угрешич, Роже Кайуа и Цветан Тодоров, Джордж Агамбен и Петер Sloterdijk).

Если формулировать в самом общем виде, тема книги Ленъель-Лавастин о трех «великих парижских румынах», видных французских интеллектуалах второй половины XX века – контрмодернизационные тенденции и явления в идейной жизни европейских стран прошлого столетия. Говоря еще короче – ответственность интеллектуалов в условиях и перед лицом тоталитарной диктатуры. По материалу книга биографическая, по проблематике – историко-социологическая.

⁴² Laignel-Lavastine A. Cioran, Eliade, Ionesco: l'oubli du fascisme: trois intellectuels roumains dans la tourmente du siècle. Paris: Presses universitaires de France, 2002.

⁴³ Константин Нойка (1909–1987) входил в кружок Элиаде, Чорана, Ионеско и других, сложившийся в конце 1920-х – начале 1930-х гг. в Бухарестском университете.

⁴⁴ Laignel-Lavastine A. Esprits d'Europe. Autour de Czeslaw Milosz, Jan Patocka, Istvan Bibo. Paris: Calmann-Lévy, 2005.

Одна ее, условно говоря, половина связана с довоенной Европой, Бухарестом конца 1920-х – начала 1940-х годов, и годами Второй мировой войны. Воссоздавая этот европейский контекст, Александра Ленъель-Лавастин привлекает, зачастую – впервые, широкий пласт материалов, многие из которых стали доступны вне Румынии лишь после падения Берлинской стены и свержения режима Чаушеску. Тут и предвоенные, долгое время не переиздававшиеся сочинения Элиаде, Чорана и Ионеско на румынском языке, и современная им румынская газетная и журнальная публицистика, затерянные в тогдашней прессе публикации их идейных учителей и соратников, документы государственных и частных архивов Румынии, Франции, Великобритании, Португалии, Израиля, дневники и переписка самих героев, их друзей и знакомых. В числе этих последних документов выделю дневниковые записи литератора того же бухарестского круга Михая Себастьяна, близко знавшего всех трех наших героев⁴⁵, но прежде всего дневник, который Элиаде вел в салазаровской Португалии в 1941–1945 годах и который до нынешнего дня не опубликован ни в Румынии, ни во Франции (текст за более поздние годы опубликован в Барселоне на испанском языке⁴⁶).

Автор скрупулезно документирует тяготение Элиаде и Чорана к лозунгам и символам румынского фашизма и германского нацизма, последовательную дискредитацию ими, яркими нонконформистами, яркими ораторами и публицистами, несомненными лидерами своего поколения, демократических идей и институтов современной Европы (в этом пункте Ионеско, столь же радикальный критик современной Румынии, решительно разошелся со своими друзьями и сверстниками). Подчеркну лишь одно существенное обстоятельство. Все это происходит в условиях, когда редкие оппоненты наших героев и их наставников либо физически уничтожаются поднимающими голову фашистами, либо их так или иначе вынуждают покинуть публичную сферу.

Открытая поддержка Чораном и особенно Элиаде агрессивной идеологии и ксенофобской практики легионеров «Железной гвардии» Костантина Кодрянуна на протяжении нескольких лет фактически приучала образованную часть страны к насилию против любых инакомыслящих, любых чужаков (но прежде всего, понятно, евреев) как к инструменту политики и норме повседневной жизни. Автор связывает фашизоидность чувств и мыслей Чорана и Элиаде с тяжелым переживанием ими – вчерашними провинциалами, интеллектуалами в первом поколении, блестящими представителями бухарестской молодежи – комплексов отсталости и второсортности своей страны, с их одержимостью призраками внешнего заговора, взвинченной верой в «духовное возрождение» нации, героизацией «вождя» и неизбежностью «очистительного насилия». Замечу, что при общем стратегическом сходстве двух мыслителей их конкретные установки и взгляды могут заметно разниться. Скажем, чорановская ненависть к прошлому и деревенской архаике не имеет ничего общего с идеализацией их у Элиаде, как и эйфорическое переживание варварства у Элиаде, его зачарованность мистикой самопожертвования и смерти – с сознанием своего одиночества и обреченности, тотальным пессимизмом Чорана.

Не похожи друг на друга и жизненные траектории трех протагонистов в период Второй мировой войны. Начиная с 1940-го, Элиаде проводит все ее годы на дипломатической службе фашистского румынского государства в Великобритании, а после разрыва в феврале 1941 года отношений между двумя странами – в Португалии, он – деятельный главный советник по печати и пропаганде румынского посольства. Чоран в течение трех месяцев 1941 года занимает совершенно не подходящий ему по человеческому складу пост советника по культуре посольства Румынии в вишистской Франции, а затем уходит со службы, перебирается в оккупиро-

⁴⁵ Дневник Михаила Себастьяна (настоящее имя Иосиф Гехтер, 1907–1945) переведен на многие языки и стал одним из памятников эпохи, см.: *Sebastian M. Journal*, 1935–1944. London: Heinemann, 2001 (2-е изд. 2003, исп. изд. 2004, фр. изд. 2007).

⁴⁶ *Eliade M. Diario 1945–1969*. Barcelona: Editorial Kairós, 2001.

ванный Париж и ведет там, как все последующие годы вплоть до кончины, жизнь затворника и маргинала. Ионеско (по материнской линии – еврей) избирает, как он выразился позднее, тактику «побега из тюрьмы в форме охранника». Ему удается вырваться из страны как раз перед массовой депортацией и уничтожением сотен тысяч румынских евреев, добившись через влиятельных друзей поста секретаря по делам печати и пропаганды того же румынского посольства в Виши, где он остается до октября 1945 года. Иными словами, все три героя книги, констатирует автор, в определенной мере сотрудничают с фашистской властью (и румынской, и французской, а Элиаде – португальской). Но делают это в разное по длительности время, в разной форме и с разным смыслом, как и с разными чувствами. И оценивать их в этом плане нужно, конечно же, по-разному, что не всегда делает Александра Ленъель-Лавастин, – эти моменты ее книги вызвали критику и во Франции, и в Румынии, где она была в 2004 году переведена.

Вторая половина монографии посвящена послевоенным стратегиям трех мыслителей, живущих теперь уже во Франции (Элиаде в 1957 году переезжает в США), в их отношении к собственному прошлому, которое угрожает раскрыться. Элиаде избирает в жизненном поведении и публичных «Воспоминаниях» линию последовательной утайки и выстраивания новой биографии – тем не менее он, как персона нон грата, так и не получает разрешения на въезд в Израиль, равно как остаются безуспешными его усилия организовать внушительную мировую поддержку для получения Нобелевской премии (отдельный сюжет – напряженные отношения Элиаде с американскими интеллектуалами, ставшие, среди прочего, сюжетной основой последнего романа Сола Беллоу «Рэвелстайн»). Чоран очень глухо, в сильно затушеванной форме и чаще всего в письмах или записях для себя, напроочь отрекается от довоенных лет; он запрещает публикацию своих «румынских» книг во Франции, смягчаясь лишь в самом конце жизни, но и тогда дав согласие на перевод пылкого памфлета «Преображение Румынии» лишь в отредактированном виде (наиболее яростные антисемитские выпады автором были опущены). Ионеско – кроме всего прочего, в 1946 году заочно приговоренный румынскими властями к 11 годам тюрьмы как коллаборационист – вымещает свои переживания и наблюдения предвоенной и военной поры в формах абсурдистской драмы (в 1950 году он пишет «Лысую певицу», в 1952-м – «Стулья», в 1959-м – «Носорога»).

Общий и важный для всех троих момент: с конца 1940-х годов к румынскому языку они больше никогда не возвращаются, кроме как в частной переписке и частных разговорах с соотечественниками. Однако и отношение к собственному прошлому ни один из них так и не находит нужным (или возможным?) выразить развернуто и публично. Стоит отметить, что Ионеско – многие годы сохраняя критическую дистанцию по отношению к Чорану и особенно к Элиаде, помирившись с прежними друзьями лишь ко второй половине 1970-х – ни в газетно-журнальной публицистике, ни в интервью, ни в мемуарах ни словом не заикается об их политической позиции предвоенных и военных лет⁴⁷.

Критическое отношение французских и, шире, европейских интеллектуалов к не до конца раскрытому прошлому Элиаде, Чорана и, в определенной мере, Ионеско сдерживается характерной расстановкой сил с начала 1960-х и едва ли не до конца 1980-х годов. Все три автора занимают резкую антикоммунистическую позицию, а в этих обстоятельствах публичное разоблачение профашистских моментов в их прошлом, по логике тотального противостояния, «играло бы на руку коммунистическим силам» и проч.⁴⁸ Работа по реконструкции ампутированных исторических обстоятельств с осторожностью начинается лишь в 1990-е годы. Но теперь ей мешает другой, можно сказать, противоположный политический момент: борьба с

⁴⁷ С публицистикой и мемуарами Ионеско русскоязычные читатели могут познакомиться по изданию: *Ионеско Э. Противоядия*. М.: Прогресс, 1992.

⁴⁸ Напомню, что эту иезуитскую логику столь же иезуитски переворачивает в 1950–1960-х гг. Жан-Поль Сартр, обрушиваясь с резкой критикой на публикаторов материалов о сталинском ГУЛАГе во французской и испаноязычной печати (среди последних – Октавио Пас), льющих-де воду на мельницу антикоммунистических сил.

наследием режима Чаушеску в Румынии толкает часть румынских интеллектуалов к известной идеализации досоциалистических порядков в странах Восточной Европы. Отсюда – пусть условная и частичная, но все же «реабилитация» в Румынии диктатуры Йона Антонеску, а в еще больше степени – всей предвоенной эпохи и склада жизни, что и подтолкнуло тогда, среди прочего, к переизданию старых румынских книг Чорана сначала на его бывшей родине, а следом и во Франции.

Воспроизводя и учитывая все эти стороны жизни своих героев, Александра Леньель-Лавастин не соглашается признать поступки и труды трех мыслителей в 1930-е годы всего лишь «грехами молодости» (такая самооценка, надо сказать, присутствует в дневниковых записях Чорана 1960-х годов⁴⁹). Напротив, она ставит задачей показать связь между политическими взглядами и поступками своих героев в 1930-е годы и основными темами мысли Чорана, Элиаде, Ионеску после войны. В определенной мере – оценить это смогут сами читатели – исследовательнице удастся эту связь убедительно реконструировать и подтвердить. Но стоит признать, нередко Леньель-Лавастин заранее постулирует подобную причинную логику и лишь иллюстрирует исходные тезисы некоторыми частными сопоставлениями. Их, как представляется, можно истолковать иначе, более того – в ряде случаев можно и вовсе усомниться в правомерности таких сопоставлений. Кажется, автор лишает своих героев даже возможности измениться, стать другими – а уместно ли при отсутствии подобной свободы вообще говорить об этике?

Но, скажу еще раз, пусть это решает для себя каждый читатель. Я же вижу более общий смысл данной книги – особенно для России и стран Восточной Европы сегодня – в том, чтобы в полный рост поднять вопрос о месте интеллектуалов в социально-политических перипетиях XX века, об их историческом выборе и ответственности за этот выбор, включая его последствия. Календарный век завершился. Однако в России данный комплекс проблем истекшего столетия иначе как в частных обличительно-оправдательных разборках у телевизионных «барьеров» или и в форме организованного «слива» компрометирующей информации на страницы бульварных газет компетентными органами, можно сказать, всерьез даже не поставлен.

Между тем «случай» Элиаде, Чорана и – с очень значительными оговорками – Ионеску входит, конечно, в более широкий контекст правоконсервативных политических и идейных движений прошлого столетия. Страницы их биографии конца 1920-х – первой половины 1940-х годов ложатся рядом с соответствующими материалами из жизни Мартина Хайдеггера и Карла Шмитта, Кнута Гамсуна и Карла Юнга, Эзры Паунда и Луи Селина, Эрнста Юнгера, Мориса Бланшо и, увы, многих еще. Кое-какие из этих явлений уже сравнительно хорошо описаны западными историками (применительно к Франции назову хотя бы основополагающие труды 1980-х годов израильского исследователя Зеева Стернхилла, книги Пьера-Андре Тагьева⁵⁰), хотя по-прежнему почти неизвестны в России. С другой стороны, здесь нельзя избежать сопоставления с зеркально-подобными им настроениями и взглядами радикально-левых интеллектуалов Европы в те же десятилетия.

В этом плане, подытоживая сказанное, обращаю внимание читателей лишь на один характерный момент. Многие левые интеллектуалы 1930-х годов уже с самого начала 1950-х выступают с ревизией коммунистической идеи и практик ее тоталитарного воплощения (напомню хотя бы прогремевший в 1950 году сборник статей Андре Жида, Артура Кестлера, Игнацио Силоне и других «Бог, потерпевший крах»⁵¹ и вышедший тремя годами позже памфлет Чеслава

⁴⁹ Фрагменты записных книжек и мемуарной прозы Чорана опубликованы на русском языке в сборнике: *Чоран Э. М. После конца истории: Философская эссеистика*. СПб: Симпозиум, 2002.

⁵⁰ *Sternhill Z. La France entre nationalisme et fascisme*. T. 1–3. Paris: Presses De Sciences Po, 2000; Taguieff P.-A. *L'effacement de l'avenir*. Paris: Galilée, 2000.

⁵¹ *The God that failed*. New York: Harper & Row, 1949 (нем. пер. 1950, оба несколько раз переиздавались).

Милоша «Порабощенный разум»⁵²). Далее этот процесс активно развивался после 1956 и 1968 годов. Однако со стороны правых – включая героев книги Ленъель-Лавастин – ничего хотя бы близкого к подобным шагам так и не последовало. Дело не в бичевании себя и не в разоблачении других, равно как не в очернении-обелении чьего бы то ни было прошлого. Речь идет о прямом деле интеллектуалов – рационализации собственного и чужого опыта для извлечения из него общего смысла.

⁵² *Miłosz Cz. Zniewolony umysł*. Paryż: Instytut Literacki, 1953 (многократно переиздан, переведен на многие языки; рус. пер.: Милош Ч. Порабощенный разум. СПб.: Алетейя, 2003).

Уроки языка

Как всякая страсть, страсть к словам – вольный эквивалент термина «филология» – не считается с временем и местом. Но вернее, пожалуй, другой, впрочем, еще более вольный перевод этого слова: «тяга к смыслу», – и тогда филология есть, напротив, глубочайшее выражение обстоятельств нашего существования, неотъемлемых и неотменимых. Выражение и преодоление разом. Выражение как преодоление. Борьба за слово. Чем, если не этой борьбой, был занят в Стамбуле 1942–1945 годов специалист по *романским* (как, отмечу, и другие филологи-гуманисты в Германии той поры – Э. Р. Курциус, К. Фосслер) литературам, эмигрант Эрих Ауэрбах, без хорошей библиотеки, без новой периодики, без новейших исследований коллег работая над своим фундаментальным «Мимесисом»? И разве не ее в ту же эпоху вел уволенный в 1935 году за неарийское происхождение, отлученный от печатного слова (в Третьем рейхе газеты, журналы и книги евреям не продавались, пользоваться библиотеками им было запрещено), принудительно выселенный из собственного дома и отбывающий трудовые повинности мюнхенский филолог, опять-таки исследователь *романской* словесности Виктор Клемперер, нелегально заполняя страницы профессионального дневника, который ляжет потом в основу его вышедшей в 1947-м монографии о языковой практике нацистов⁵³, а много позднее, уже в 1990-е будет с шумом переведен на другие западные языки, превращен в многосерийный документальный фильм, радиоспектакль и многочасовую постановку на сцене Мюнхенского камерного театра, награжден антифашистской премией и т. д.?

Рецензируемый труд Клемперера, ответственно, вдумчиво и находчиво переведенный теперь на русский⁵⁴, – одна из целого ряда работ, в которых профессионал осмысляет на своем примере коллективный опыт человеческой несвободы. В 1940–1950-х годах вместе с клемпереровской книгой появились «Психолог в концлагере» Виктора Франкла и «Просвещенное сердце» Бруно Беттельхайма, «Род человеческий» Робера Антельма, «Если это человек» и «Передышка» Примо Леви, «Порабощенный разум» Чеслава Милоша, «Литература в лагере» и «Написанное смертниками в годы немецкой оккупации» Михала Борвича (читающим по-русски многие из этих книг доньше неизвестны или знакомы лишь фрагментарно).

На страницах своей «записной книжки» профессиональный филолог Клемперер наблюдает и фиксирует (в том числе – в собственном частном обиходе) перерождение своего родного языка. Он следит за каждым выражением, с которым в разговор соседей, язык уличных вывесок и объявлений, в массовую и научную печать внедряется новая лингвистическая система («язык победителя», по названию одной из глав книги). Клемперер ставит задачу создать словарь этой новой речи (через несколько лет Оруэлл назовет подобное речевое образование «новоязом» и продемонстрирует его ходовые препараты). «Во многом нацистский язык, – замечает автор, – опирается на заимствования из других языков, остальное взято в основном из немецкого языка догитлеровского периода. Но он изменяет значения слов, частоту их употребления, он делает всеобщим достоянием то, что раньше было принадлежностью отдельных личностей или крошечных групп, он монополизирует для узкопартийного узуса то, что прежде было всеобщим достоянием...» (с. 26). Вот этот функциональный «двойной узел» в социальном бытовании речи, сдвоенный ход – к стиранию групповых различий в языке и, напротив, к языковой сегрегации отдельных групп – стоит, мне кажется, отметить и развернуть особо. По-моему, здесь – несущая конструкция всего процесса идеологической экспансии национал-социализма

⁵³ Klemperer V. LTI. Notizbuch eines Philologen. Berlin: Aufbau-Verlag, 1947.

⁵⁴ Клемперер В. LTI. Язык Третьего рейха. Записная книжка филолога / Пер. с нем. А. Б. Григорьева. М.: Прогресс-Традиция, 1998. Далее указания на страницы этого издания приводятся в тексте в круглых скобках.

и подобных ему по типу и функции единоспасающих учений, которые претендуют на беспрепятственное распространение и исключительное господство в масштабах общества.

С одной стороны, посредством ЛТИ любых индивидов и любые группы поверх каких бы то ни было социальных барьеров принудительно включают в единую, предельную мы-общность (народ, нацию, расу и т. д.): преодоление всяческих перегородок, включая всевозможные институты, «промежуточные» между государством и индивидом, – среди основных инструментов при постройке каждого «нового мира». Стираемые в их независимости и самодостаточности сообщества могут быть при этом как малыми и неформальными группами, к примеру семьей (скажем, Клемперер разбирает «мифологическую нордификацию» личных имен в гитлеровскую эпоху, приводит написанные в духе ЛТИ семейные объявления о рождении ребенка и кончине близких), так и специализированными институтами – допустим, научной ассоциацией, превращаемой, соответственно, в корпорацию или даже касту носителей «немецкой» науки. С другой стороны, стоящие за ЛТИ победители столь же настойчиво производят социальные различия, не только отделяя «свое» от «чужого», но прочерчивая далее разделительные границы внутри этого «чужого». Так, например, евреи в нацистской Германии были разделены на «привилегированных» (к ним, например, относится и сам Клемперер, жена которого – «арийка»), не обязанных после сентября 1941 года носить желтую звезду и жить в специальных «еврейских» домах, и «непривилегированных» остальных. Предельное воплощение этого принципа последовательного дробления, умаления, приведения к социальному нулю, как бы делящее на части уже саму личность, – точно установленный процент «неарийской» (скажем, еврейской) крови: так не смешиваются друг с другом – ни для нацистов, ни для самих себя – «полные» и «полуевреи», «смешанцы» и «проис-хожденцы» (с. 217–219). Как видим, основных осей социокультурного расчленения при этом, собственно говоря, две: отделение «наших» от «не наших» и установление градаций «подлинности» (истинный – он же настоящий – ариец, партиец и, соответственно, «прикидывающийся», «замаскированный» враг, пособник и проч.).

Клемперер описывает язык власти. Соответственно, первичная, основная и наиболее явная функция подобного языка – демонстрация власти и ее явочное, а потом и легальное общественное признание (в этом смысле, непосредственный предмет книги – языковые формы коллективного принуждения и его принятия). Важно здесь, кроме прочего, вот что. Нацистский режим в данном случае и целенаправленно производит межгрупповую, межличностную сегрегацию, психологическое раздвоение индивида, и сам же предлагает средства для их снятия, устранения повседневных, бытовых межперсональных и внутриличностных напряжений: демонстрация лояльности, признание единоспасающего учения и построенного на нем порядка (тем, кто иногда говорит при этом о «чисто внешнем» признании, я бы предложил провести границу между внутренним и внешним – в каком пространстве она здесь пролегает?). Иными словами, требуется одобрить господство победителей, разделить их точку зрения на мир как единственно правильную и возможную. Узник первых нацистских концлагерей, сумевший в 1940 году эмигрировать в США, Бруно Беттельхайм объясняет действием этой механики, формирующей и соответствующего мазохистского субъекта, «психологическую привлекательность тоталитаризма» (так называется его написанная на собственных впечатлениях статья военных лет, вошедшая позднее в книгу «Выживание», 1979).

Сама машина социального размельчения запускается на полную мощность, понятно, уже после прихода нацистов к власти (принятые рейхстагом в 1935 году «Нюрнбергские законы» о гражданстве и расе и т. д.). Но выработка идеологических постулатов, инфильтрация ксенофобических стандартов в «социальное тело» страны разворачиваются задолго до победы Гитлера на выборах. Так «Майн кампф» издается в 1923 году, воинствующе националистические и антисемитские газеты – скажем, «Мисбахский вестник» и франконский «Штюрмер» – выходят уже с начала 1920-х, а такие будущие идеологи арийской культуры, как Э. Кольбенхайер и Р. Биндинг, Х. Гримм и П. Эрнст, завтрашний официальный глава немецкой словесности

Х. Йост и многие другие публикуют свои популярные колониальные, геополитические и исторические романы, ставят почвеннические пьесы уже с начала века и заметно активизируются в 1914–1918 годах, в условиях слабо защищенных общегражданскими законами гражданских свобод при Веймарской республике. Кстати, В. Клемперер видит одну из социально-психологических основ, обеспечивших массовую восприимчивость к стереотипам нацистской идеологии, в «злой памяти» и «оскорбленном честолюбии» участников Первой мировой, которые становятся альтернативными героями для следующего поколения – своих, обобщенно говоря, детей (глава «Партенау»).

Среди особенностей ЛТИ В. Клемперер выделяет скудость его средств, «принципиальную нищету» (с. 30); неотделимость устной речи от письменной (особый «декламационный» стиль, который говорящий подчеркивает и особым, деревянным, как бы не своим голосом, понятным для адресатов и собеседников); непремennую, регулярную и прямую, без каких бы то ни было посредников, апелляцию к предельной общности («народу», отсюда и специфический интонационный упор на слова «наш», «народный», «немецкий»); склонность к аббревиатурам, в чем Клемперер видит воздействие армейского языка, и к суперлативу, включая нагнетание огромных и «точных» чисел; «иронические кавычки», навязчиво подчеркивающие и обязательно снижающие «чужое слово» – даже самые обычные вещи становятся при этом «так называемыми» (выразительные примеры см. на с. 95–97); такие лексические тики, как, например, постоянные эпитеты типа «государственный», «исторический», «фанатический» («фанатически предан»); всегдашнюю и заблаговременную агрессивность обращения, бойцовский характер любых утверждений и оценок, военную и спортивную метафорику схватки, триумфа вместе с диффамацией и изгнанием из публичной речи любых признаков рефлексии, включая языковое сомнение, сознание условности, ограниченности, приблизительности высказанного и их речевые показатели («Весь его словарный запас пронизан волей к движению, к действию» – с. 290).

В главе «Немецкий корень» Виктор Клемперер задается вопросом о «чертах народного характера», которые позволили немецкому нацизму победить, а националистической идеологии распространиться в массах. Анализируя фигуру идеализированного немца (германца), прославление немецкого духа, Клемперер обращается к периоду романтизма в Германии, прославленной эпохе освободительных войн против Наполеона, тогдашней антифранцузской пропаганде и отражениям этих социально-исторических процессов в вершинных памятниках немецкой культуры, словесности, философской мысли. Клемперер экстрагирует из этого материала такие идеализированные «качества» немцев, как «устремленность в беспредельное», «отсутствие чувства меры», «сверхнастойчивость» (снова вошедший тогда в моду Тацит говорил о «германском упорстве даже в дурных вещах; сами германцы зовут его верностью» – с. 169). Не стану ни пересказывать клемпереровский материал, ни повторять ход авторских рассуждений по данному поводу (эти страницы, с пользой для себя и находя тут очень знакомые, буквально сегодняшние приметы, прочтут сами читатели), подытожу лишь общий их смысл.

Дело – вопреки слоганам националистической пропаганды – конечно же, не в «незыблемых устоях народной души», но и (это уже идет вразрез с концепциями массового манипулирования и подавления) не в изнасилованности безвольной жертвы-народа демоническим централизованным аппаратом государственных репрессий. Дело, как всегда, в действиях самих людей, их собственном выборе, ориентирах и цене этого выбора. Из приведенного Клемперером материала очевидно, что перед нами – не природные, естественные, а потому-де непостижимые уму тайны и загадки «натуры», как бы недоступный для сухого рацио целостный «клик народа», его «национальный характер», а результат вполне направленных, явных и понимаемых процессов в социальной системе и культуре обществ на определенной фазе их исторического существования. В данном конкретном случае речь идет о запоздалой модернизации стран Центральной Европы (а можно было бы присоединить к ним тут и Восточную).

Во второй половине XIX века, в поздний и переломный период становления национального государства, формирования принципов национальной идеологии силами образованных слоев осуществляется и формирование соответствующего риторического лексикона, слоя публичного языка, в том числе – его антропологической метафорики (это и есть словарь «национального характера»). Ключевые для данного периода фигуры мыслителей, писателей, художников, сосредоточивавшихся в своей деятельности на проработке соответствующей изобразительной и языковой символики *в целях ее универсализации*, позднее – в эпоху эпигонов и их усилиями – наделяются статусом классиков, культурных героев (при этом их «предельно широкий горизонт... предельно сужается» до «отречения от всего чужеземного», «исключительного прославления всего немецкого» – с. 181), так что теперь их индивидуальное творчество и оригинальные находки включаются в деятельность анонимных институтов и структур социокультурной репродукции общества – становятся предметом преподавания в школах (школа – важнейший институт модернизирующегося социума), образуют экспрессивные ресурсы публичной декламации, журналистского стиля, наконец, превращаются в элементы общего языка культуры, «языка как такового».

Кстати, книга, материал и предмет которой – родной язык, а задача состоит в стремлении этот язык отстоять, характерным образом кончается отсылкой к чужим, но не чуждым словам другого человека. Клемперер и его жена, сами бежавшие из Дрездена от нацистской расправы, разговорились в деревне с беженкой из Берлина (идут последние дни войны, не сегодня-завтра появятся американцы): «Так за что же вас посадили?» – «Да ну, все из-за слов» (имеется в виду – оскорбительных для фюрера и рейха. – Б. Д.). «Так и родилась эта книга... из-за слов», – добавляет автор (с. 364). Но опять-таки показательным, что «ЛП» и начиналась обращением к собеседнику (посвящением жене), а также цитатой из речи «другого». «Язык – это больше, чем кровь», – приведены в эпиграфе к книге слова сподвижника Мартина Бубера по новому переводу Библии на немецкий язык, философа Франца Розенцвейга.

Свидетель, каких мало

Так назвал автора «Канувших и спасенных» его соотечественник Джорджо Агамбен в книге «Что остается от Аушвица» (1998), где философский анализ моральных последствий Шoa опирался в первую очередь на свидетельства узника Аушвица Primo Levi. Сборник размышлений и воспоминаний, который лежит сейчас перед российским читателем⁵⁵, вышел в свет в 1986 году, за несколько месяцев до смерти Леви, и стал итоговым не только для четырех десятилетий усилий автора не забыть прошлое и напомнить о нем другим.

Он резюмировал целую серию публикаций о лагерях массового уничтожения, сходных с автобиографическими текстами Леви «Человек ли это?» (1947) и «Передышка» (1963), а также ответных по отношению к ним. Свидетельские книги Виктора Франкла, Давида Руссе, Ойгена Когона, Жана Амери, Робера Антельма, Эли Визеля, Бруно Беттельхайма, самого Primo Levi составили библиотеку. Рядом с ними встали романы и новеллы бывших заключенных Петра Равича, Жана Кейроля, Анны Лангфюс, Хорхе Семпруна, Имре Кертеса, Бориса Пахора, Тадеуша Боровского и многих других.

Эти книги прочитали сотни и сотни тысяч людей в разных странах, имена их авторов вошли в школьные учебники, а тексты стали основой кинофильмов, радиопостановок и театральных спектаклей. В Германии и других государствах были проведены многочисленные судебные процессы над нацистскими преступниками, в том числе теми, кто отвечал непосредственно за создание и функционирование лагерей смерти. Почти одновременно с «Канувшими и спасенными» Европа увидела девятичасовой документальный фильм-свидетельство Клода Ланцмана «Шоа» (закончен в 1985-м). Через несколько недель после смерти Primo Levi была издана большая подборка воспоминаний лагерных «мусульман» – обречших себя на добровольную смерть «доходяг», отказавшихся выживать и все-таки выживших. Началось время обобщения и анализа прежних свидетельств – десятилетие трудов Р. Хильберга, Г. Лангбайна, М. Поллака, В. Софского, П. Видаль-Наке и десятков других историографов Холокоста. Так или иначе, в результате этой коллективной работы послевоенный западный мир, в том числе сознание миллионов людей в Германии, стал другим.

Война против беспамятства

Что двигало Primo Levi в его многолетних усилиях *свидетеля*? К литературе он себя долгие годы не причислял и в 1963-м, будучи уже автором двух романов и нескольких новелл, на вопрос, кто он – химик или писатель, ответил: «Конечно химик, тут и думать нечего»⁵⁶. Может быть, стимулом для его работы стало осознание того, что из реальности нацистской Германии и установленного ею порядка была устранена сама мысль о таких, как он, о подобных ему как о людях, и этот порядок претендовал на статус тысячелетнего и мирового. Всякий «другой» здесь был обреченна изоляцию, заключение и гибель, даже если какое-то время ему разрешалось жить отсрочкой наказания. Как *пока еще не уничтоженный*, он был лишен любых проявлений индивидуальности, даже остаточных идиосинкразий в форме смущения или брезгливости перед всеобщим и одинаковым для всех (стрижка, форма, вытатуированный номер, одновременная еда и прилюдные естественные отправления, принудительное раздевание при всех несколько раз в день и т. п.). Как *обреченный*, он должен был исчезнуть без следа и даже без воспоминания. Поэтому память – одна из ключевых категорий в книгах Primo Levi:

⁵⁵ Предисловие к книге: *Леви П. Канувшие и спасенные*. М.: Новое издательство, 2010. Далее цитаты из этой книги в переводе Елены Дмитриевой приводятся с указанием страницы в круглых скобках.

⁵⁶ *Levi P. Conversazioni e interviste*. Torino: Einaudi, 1997. P. 102.

память – это личность, свидетель – это человек. В этом смысле «всю недолговечную историю „Тысячелетнего рейха“ можно назвать войной против памяти» (с. 24).

Те, кто выжили, призваны помнить, чтобы предотвратить забвение. Но такова лишь одна сторона их добровольно взятой на себя ответственной миссии. Дело еще и в том, что они *не в силах не вспоминать*: пережитые ими мучения теперь продлеваются памятью. Память тяжела не только палачу или угнетателю, признавшим себя виновными, – она непереносима для самого вспоминающего, поскольку воскрешает и длит его прежнюю неволю, унижение, боль, утраты. Леви цитирует Жана Амери: «Кого пытали, тот не забудет об этом до самой смерти. <...> Кто перенес мучения, больше не вернется к обычной жизни; червь унижения будет грызть его постоянно» (с. 19).

Так что память выживших противостоит не только уничтожению памяти и ее носителей их палачами. Забвение, вытеснение тягостных воспоминаний, перелицовка памяти – стратегия едва ли не всех, кто выжил (причем с обеих сторон – и угнетателей, и жертв), но не хочет, избегает помнить, спасается забвением:

Помнящий захотел превратиться в непомнящего, и ему это удалось: желая перечеркнуть то, что было в действительности, он исторг из себя неприятное воспоминание, освободился от него, как освобождаются от экскрементов или паразитов (с. 23).

Желающему же помнить приходится бороться не только с другими. Ему предстоит признать, что это его внутренняя борьба с самим собой. Признать это крайне важно – и чрезвычайно трудно: едва ли не каждому проще найти врагов *вовне*, провести непреодолимую черту между «своими» и «чужими» и успокоиться хотя бы на этом (Примо Леви не таков, но об этом ниже).

Кроме того, нацистская диктатура памяти не ограничивается уничтожением следов собственных преступлений и тех, кто мог бы о них вспомнить и рассказать. Она подразумевает фальсификацию памяти и диффамацию жертв как свидетелей – такова еще одна разновидность их продолжающейся гибели и унижения. Леви цитирует Симона Визенталя, рассказывающего об этом замысле нацистов:

Как закончится эта война, мы пока не знаем, – говорили они, – зато знаем, что в войне с вами победу одержали мы, потому что никто из вас не останется в живых, чтобы свидетельствовать, а если какие-то единицы и останутся, мир им не поверит. <...> Даже если доказательства найдутся и кто-то из вас выживет, люди скажут, что доказательства ваши настолько чудовищны, что поверить в их подлинность невозможно <...>, а потому поверят нам, которые будут все отрицать, а не вам (с. 7–8).

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.